

83.3(2=411.2)6-8

Б 72

1395449

АЛЕКСАНДР БОБРОВ

ИОСИФ

БРОДСКИЙ



**ВЕЧНЫЙ
СКИТАЛЕЦ**

16+

1395449 - ч. з. - 291.09 р.

83.3(2=411.2)6-8

Б 72

Бобров, Александр
Александрович.

Иосиф Бродский.

Вечный скиталец [Текст].

- 349, [2] с. : ил., портр. -

Москва, 2014

Проверено 22.04.15 АБ



Обязательный экземпляр *2/3*

АЛЕКСАНДР БОБРОВ

**МОСИФ
БРОДСКИЙ**

ВЕЧНЫЙ СКИТАЛЕЦ

1395449

Курская областная
научная библиотека
имени Н.Н. Асеева

Москва
алгоритм
2014



УДК 82-94
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
Б 72

Оформление *Бориса Протопопова*

Бобров А. А.

Б 72 Иосиф Бродский. Вечный скиталец / Александр Бобров. — М. : Алгоритм, 2014. — 352 с. — (Легенда №).

ISBN 978-5-4438-0595-5

Спросите любого даже в наше не столь располагающее к литературе время: кто такой Иосиф Бродский? Большинство ответят, что он из диссидентов, нобелевский лауреат — великий российский поэт. По словам другого поэта, поэт в России больше, чем поэт. Он — властитель дум миллионов. И Бродский таким был, по крайней мере в среде единомышленников. Ведь недаром на Западе у русскоязычных граждан давно считается, что «Бродский действительно своего рода Пушкин XX века — настолько похожи их культурные задачи... Он застилает горизонт. Его не обойти. Ему надо либо подчиниться и подражать, либо отринуть его, либо впитать в себя и избавиться от него с благодарностью. Последнее могут единицы. Чаще можно встретить первых или вторых».

Так кто же он, Иосиф Бродский, подобно Вечному жиду, скитавшийся по миру: гениальный поэт или раздутый до непомерных размеров ангажированный литератор?

В своей книге публицист и поэт Александр Бобров дает ответ на этот вопрос.

УДК 82-94
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 978-5-4438-0595-5

© Бобров А. А., 2014
© ООО «Издательство «Алгоритм», 2014



ВЗДРОГИ ПОЭЗИИ

Бродский — великий маргинал, а маргинал не может быть национальным поэтом.

Сколько у меня стихов о том, что придет мальчик и скажет новые слова. А пришел весь изломанный Бродский.

Евгений Евтушенко

Иосиф Бродский умудрялся в своих стихах, обращенных к другим поэтам, давать характеристику себе. «Грызун словарного запаса» — эта строка из стихотворения, посвященного Кушнеру, как нельзя лучше подходит к самому антигерою этой книги под названием «Вечный жид Иосиф Бродский». В начале XVII века почти ни о чем другом не говорили, как только о Вечном жиде, сперва в Германии, затем во Франции, Бельгии, Дании, глуше — на Руси. Вечный жид рисовался в воображении народа как неприкаянный путешественник, который обречен скитаться до второго пришествия и прощения, который взбудораживал страны своим появлением в христианских храмах. О нем писали книги, баллады, пели песни, спорили. Переиздания, переводы и перелицовки на разных европейских языках следовали во множестве: образ бывшего иерусалимского сапожника, который ударил Спасителя, высокого человека с длинными волосами и в оборванной одежде, владел воображением людей в течение целой эпохи. В еврейской энциклопедии сказано: «Вечный жид — персонаж многих средневековых легенд. Он был осужден на вечное скитание за то, что глумился над Иисусом или ударил его на пути к месту распятия. Большинство вариантов легенды имеет отчетливую антиеврейскую направленность».



Это проверенный ход — сразу обвинить творца фольклора или автора другой крови в антиеврействе. Но данная книга, по возможности трезво оценивающая творчество того, кто был тщеславен и высокомерен до мании величия, направлена против бесчисленных эпигонов — «грызунов языка» и поющих осанну, подобно русскоязычному литературоведу, живущей на Западе: «Бродский действительно своего рода Пушкин XX века — настолько похожи их культурные задачи... Он застилает горизонт. Его не обойти. Ему надо либо подчиниться и подражать, либо отринуть его, либо впитать в себя и избавиться от него с благодарностью. Последнее могут единицы. Чаще можно встретить первых или вторых». Автор этой книги — из вторых. Из отринувших и твердо знающих, что Пушкин на все века — один.

В Москве, на Новинском бульваре, накануне дня рождения Пушкина — появился памятник Иосифу Бродскому. Он был отлит еще в 2008 году, а решение о его установке было принято в 2009-м. Для того, чтобы страшную работу Г. Франгуляна — автора надгробия Ельцину — все же увидели и ужаснулись ею москвичи, понадобилось несколько судебных разбирательств: вакантное место занимал пункт обмена валюты, который, несмотря на постановление правительства Москвы, удалось демонтировать только через суд. Уродливое (под стать памятнику) коммерческое препятствие, здравый смысл (при чем тут принципиальный немосквич Бродский?) и все архитектурно-эстетические соображения были преодолены, и на Новинском бульваре, недалеко от посольства США (где ж еще!), состоялось торжественное открытие памятника поэту. Либеральные СМИ выразили восторг по поводу этого события, а на открытие пришли все свои — приятели и почитатели поэта. В топорной же скульптурной композиции можно увидеть две группы: не только друзей, но и врагов. Сам Бродский в дорогом костюме и элегантных итальянских ботинках победительно стоит, сладострастно закинув голову. Это не гонимый советской властью за инакомыслие ленинградский поэт, но торжествующий Бродский-американец, уже получивший Нобелевскую премию и всемирное признание.



Памятник Иосифу Бродскому и Владимиру Высоцкому.
Творческая мастерская и музей Зураба Церетели
на Большой Грузинской улице, Москва



«Это кто такой так встал? Это кто себе позволил? Это будет удар, вздрог! Здорово получилось! Два цветка... ему сейчас уже не нужно, да ему и никогда не было нужно, он смотрел в небо. Два цветка Иосифу и пять — тем, кто за него бился, кто так хорошо его «вставил» в Москву, что мимо не пройдешь», — восклицал Сергей Юрский. Да уж — такой вздрог, так вставил... Мне подумалось, глядя на телеэкран, лучащийся восторгами: а почему у нас так стремительно ставят памятники Окуджаве, Бродскому, но никому почему-то в голову не придет требовать поставить памятник на Софийской набережной, например, всенародно любимому Николаю Рубцову, который учился в Москве, состоялся здесь как поэт и написал лучшее стихотворение о Московском Кремле, возвышающемся напротив:

Бессмертное величие Кремля
Невыразимо смертными словами!

«Молод тот, кто еще не солгал» — это замечательно точное высказывание французского писателя Жюль Ренана я часто повторяю своим студентам в Московском государственном университете культуры и искусств. Заочникам читаю курс «Сценарное мастерство» и даю перед экзаменом задание: написать телесценарий по двум стихотворениям на выбор — Рубцова «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны» или Бродского «Ты поскачешь во мраке по бескрайним холодным холмам». Критик Лев Аннинский писал: «Тут в параллель с Рубцовым прямо-таки просится Иосиф Бродский. Там холмы и тут холмы. Пусть знатоки источников решат, кто кому обязан: то ли Рубцов подсказал лейтмотив Бродскому, то ли подхватил у Бродского... С такими переключками вообще надо быть осторожными».

Но меня-то больше всего интересует сам выбор молодых и уже немолодых студентов. За три потока выявилась любопытная закономерность: все, кто уже отравлен современным ТВ и не раз лгал, все нерусские москвичи (питерцы имеют свой Университет культуры) и, напротив, пыжащиеся провинциалы — выбирают Бродского; все, кто еще не привык врать и верит в высо-



кое предназначение журналиста, кто обладает более высоким и патриотичным творческим потенциалом, выбирают Рубцова. Тех и других — почти поровну, но выявилась еще одна важная закономерность: сценарных поисков, находок и образных попаданий значительно больше у тех, кто выбрал стихи Николая. И это легко объяснимо, если сравнить хотя бы любую его законченную строфу с тягучими стихами Иосифа:

Боюсь, что над нами не будет таинственной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,
Что, все понимая, без грусти пойду до могилы...
Отчизна и воля — останься, мое божество!

Помню, одна архангелогородка весь сценарий построила через рубцовскую лодку, плывущую по северной реке — пустую, с отроком, с влюбленной парой. И впрямь, какой простор для образных решений, распахнутый ясной и сильной метафорой!

А вот холодная невнятица другого автора:

Все равно — возвращенье... Все равно даже в ритме баллад
есть какой-то разбег, есть какой-то печальный возврат,
даже если Творец на иконах своих не живет и не спит,
появляется вдруг сквозь еловый собор что-то в виде копыт.

Никто не может ничего придумать «в ритме баллад», кроме копыт крупным планом, икону сквозь ельник. Но ведь у Бродского Творец «на иконах своих не живет и не спит» (!) — здесь привычная поэтическая размытость, мнимая многозначительность. «У Бродского своя судьба, а у Рубцова — своя, — пишет Николай Коняев. — Незачем насильственно сближать их, но все же поражает, как удивительно совпадает рисунок этих судеб. Одни и те же даты, похожие кары, сходные ощущения. Даже география и то почти совпадает. Правда, в 1971 году Рубцов не уехал никуда. Его просто убили. Но с точки зрения Системы, стремящейся избавиться от любого неудобного ей «образа мысли», это различие не было существенным...» Мы уже давно живем в другой



«системе» с маленькой буквы, и теперь ясно видим, как резко разошелся посмертный «рисунок судьбы»: один стал лауреатом Нобелевской премии, героем либерального истеблишмента, любимцем ТВ, а другой — просто самым издаваемым и любимым народным поэтом без всякой информационно-телевизионной раскрутки. Поразительно! Да Коняев и сам это понимает: наверное, ни одна его книга не переиздавалась столько раз, сколько книга о Рубцове с вариациями.

Перечень «100 книг» по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, одобренный Министерством образования и рекомендуемый школьникам к самостоятельному прочтению, вызвал яростные споры, умные или ядовитые комментарии, которые сводились с нашей, с русской, стороны к тому, что в списке мало почвеннической, патриотической литературы (нет Василия Белова!) и слишком много книг антисоветчиков и западников — от Василия Аксенова до Людмилы Улицкой. Правда, мне один литератор признался, что ему понравился список хотя бы тем, что в нем есть Николай Рубцов, но нет Иосифа Бродского. Наивная душа! Он не понимает, что, коль нет в этом списке, значит, он прочно обосновался в самой обязательной программе.

В мае 2010 года в Санкт-Петербурге на факультете филологии и искусств СПбГУ прошла международная научно-исследовательская конференция «Иосиф Бродский в XXI веке». Учителей и методистов-словесников пригласили принять участие в работе «круглого стола» «Произведения Бродского в школьной программе (на уроках литературы)». Сообщалось, что участники секции «Произведения Бродского в школьной программе» вместо научно-исследовательских материалов могут присылать авторские учебно-методические разработки учебников по творчеству Иосифа Бродского. Понятно, наивные почитатели Рубцова? — уже учебники по Бродскому пишутся! Бедные школьники...

«Вспомним русскую поэзию, — пишет академик Всеволод Троицкий. — Какое слово в ней является ключевым? Конечно,



слово *любовь*, люблю. Например: «Люблю Отчизну я...», «Люблю дымок спаленной жнивы...» (М.Ю. Лермонтов) «Люблю грозу в начале мая...», «Я лютеран люблю богослуженье...», «Люблю глаза твои, мой друг...», «Люблю смотреть, когда созданье Как бы погружено в весне...» (Ф.И. Тютчев), «Люблю дорожкой лесною, Не зная сам куда брести...», «Люблю тебя, месяц, когда озаряешь...», «Люблю я горные вершины...» (А.Н. Майков) и т.д. А теперь приведем несколько стихов О.Мандельштама, включенного в школьную программу: «...И Батюшкова мне противна спесь...». Не угодил, видите ли, русский поэт Батюшков Осипу Эмильевичу! И еще: «Я ненавижу свет Однообразных звезд...» Или: «Как я ненавижу пахучие древние срубы...» Нелишне напомнить, что вся Россия была деревянной, и «пахучие древние срубы» — это типическая картина старой Руси, России, которая мила русскому сердцу и которую О.Э. Мандельштам (я не виню его в этом) в сущности, не сумел полюбить... Ведь он искренно говорил о себе («мы»): «Мы живем, под собою не чуя страны...» Не чуял. Можно ли за это осуждать? Нет. Но ставить как образец такое отношение — недопустимо.

Теперь о Бродском, которого так старательно «делают» гением и совершенно неосновательно сравнивают с самыми великими поэтами. Оставим в стороне его русофобские выпады и обратимся к его поэтическим достоинствам. Вот что пишет о его стихах лауреат Нобелевской премии, академик РАН А.И. Солженицын: «Бродский «нередко снижается до глумления», «смотрит на мир ...с гримасой неприязни, нелюбви к существующему». Чуждый «русской литературной традиции, исключая расхожие отголоски, оттуда выхваченные», этот поэт «почти не коснулся русской почвы» и т.д. Так зачем же навязывать школьникам беспочвенную поэзию? Нелишне учесть также, что И. Бродский, как выразился И. Шарыгин, «постепенно терял свой русский язык». Почему же такой поэт включен в школьную программу «взамен» настоящих классических русских поэтов?» Ответ напрашивается сам: потому что его поэзия созвучна обще-



му направлению современной культурной политики: вытравить русский дух. К примерам академика можно еще добавить Александра Блока, который обращался к нищей России: «Твои мне песни ветровые, как слезы первые любви». Снова пронзительная любовь даже к нищим избам. О, знал бы Блок, кто посмеет беспардонно судить о творчестве поэта, который боялся, «чтобы распутица ночная от родины не увела». Вот диалог тех, кого распутица увела в США:

Иосиф Бродский: Блока, к примеру, я не люблю, теперь пассивно, а раньше — активно.

Соломон Волков: За что?

Бродский: За дурновкусие. На мой взгляд, это человек и поэт во многих проявлениях чрезвычайно пошлый.

Мало ли о чем могут гнусно трепаться два русофоба, однако это беспрерывно публикуется в журналах и книгах! Но вернемся к поспешно возведенному памятнику. Нобелевское лауреатство персонажа совершенно ни при чем. Лауреатами не стали ни Блок, ни Ахматова, увековеченные в бронзе, ни Твардовский, но многие деятели культуры и даже еврейские вменяемые литераторы понимали, что просто неприлично открывать памятник Бродскому раньше многострадального памятника Александру Твардовскому, которому долго не находилось места даже рядом с редакцией «Нового мира» в канун 100-летия со дня рождения поэта и 70-летия начала Великой Отечественной, с дорог которой шагнул к читателю великий образ Василия Теркина!

«Я не могу вам цитировать Бродского наизусть, потому что у него особая мелодия стиха и нужно просто быть профессионалом, но я очень люблю Бродского, много его читал», — оправдывался министр культуры Александр Авдеев. Хотелось воскликнуть: ну, на худой конец, тогда пусть вспомнит хоть строчку из «Василия Теркина» у памятника классику советской поэзии, если дождется этого события на своем посту... Не дождался, дипломат.



В журнале «Звезда» (1997, №7) появился небольшой материал Бенгта Янгфельдта с одним стихотворением из архива Бродского и послесловием о том, как Иосиф, несмотря на настойчивые приглашения, не пожелал приехать в Москву, которую никогда не любил и не понимал: «Осенью 1990 г. готовилась в Москве телепередача с названием «Браво-90», куда пригласили Бродского. В Москву поехать он не захотел. Я тогда снял видеофильм с ним (в Швеции, где он в то время находился), которое показал в телепередаче, куда пригласили и меня. Была также приглашена моя жена Е.С.Янгфельдт-Якубович — исполнять песни на стихи русских поэтов. Узнав об этом, Иосиф вдруг сказал: «Подождите, у меня есть что-то для вас» — и пошел за портфелем (это все происходило у нас дома). Со словами: «Вот это вы можете положить на музыку», он дал ей авторскую машинопись стихотворения «Песенка о Свободе», написанного в 1965 г. и посвященного Булату Окуджаве. Положенная на музыку моей женой, «Песенка» была впервые исполнена ею в программе «Браво-90», показанной в начале 1991 г., но, по-видимому, нигде не напечатана.

Жена много говорила с Иосифом о песне, о том, какое значение имеют для нее стихи, положенные на музыку. Но она никогда не задавалась целью петь Бродского, зная, что другого просодического выражения, чем собственное, он не признает — он очень не любил, когда актеры читают или поют его вещи. Тем не менее мелодию «Песни» она сочинила — очевидно, поэт считал, что именно это стихотворение, с его балладным настроением, подходит для такой жанровой метаморфозы».

Привожу начало этого «вздоха поэзии» с дешевым приемом парадокса, не имеющего ни намека на балладу:

Ах, свобода, ах, свобода.
Ты — пятое время года.
Ты — листик на ветке ели.
Ты — восьмой день недели.
Ах, свобода, ах, свобода.
У меня одна забота:
почему на свете нет завода,
где бы делалась свобода?



Как это нет? Есть целые государства — заводы по производству свободы — США, Израиль, Латвия, где Юрий Лужков хотел получить гражданство. Да мало ли... Только вот памятники озабоченным любителям свободы ставят почему-то в Москве.

Яков Гордин написал в своем эссе: «Ленинград, Петербург был для него удивительным сочетанием пространства и времени. И, быть может, время играло в его восприятии города большую роль, чем пространство. В августе 1989 года Бродский писал мне из Стокгольма: «Тут жара, отбойный молоток во дворе с 7 утра, ему вторит пескоструй. Нормальные дела; главное — водичка и все остальное — знакомого цвета и пошиба. Весь город — сплошная Петроградская сторона. Пароходы шныряют в шхерах, и тому подобное, и тому подобное. Ужасно похоже на детство — не то, что было, а наоборот».

Последняя горькая фраза многое объясняет. Ленинград был для него не столько тем, что произошло в реальности, сколько миром несбывшегося. Это был город юношеских мечтаний и потому особенно любимый... В юности Бродский стремился к слиянию с городом, ища в нем жизненной опоры. «Да не будет дано умереть мне вдали от тебя...». (Еще одно несбывшееся пророчество. — А.Б.)

С самого начала и до последних лет жизни Петербург был для него не просто городом, который он любил, но средоточием всего самого важного: несчастья и любви, озарений и отчаяния, гордости и горечи. Бродский был великий путешественник, объехавший полмира. Но движение в пространстве — акт механический, движение во времени — творческий акт. Ленинград — Петербург для Бродского существовал во времени ярче и явственней, чем в пространстве».

Но и Яков Гордин нисколько не протестовал, чтобы первый монументальный уличный памятник поэту появился в реальном московском пространстве. Хотя, конечно, еще в ноябре 2005 года во дворе филологического факультета Санкт-Петербургского университета по проекту К. Симуна был установлен формально первый в России памятник Иосифу Бродскому. Но скульптура



В эвакуации. Ося с матерью и теткой.
Череповец, 1942. Фото А. И. Бродского.
Из архива М. И. Мильчика



во дворике — это не парадный и вызывающий монумент! Кстати, место памятника в Питере выбрано не случайно. Сам Бродский рассказывал Рейну про желание учиться в ЛГУ: «Впрочем, я думаю, что у меня была некая аллергия, потому что когда я видел какие-то обязательные дисциплины — марксизм-ленинизм, так это, кажется, называется, — как-то пропадало желание общаться... Но все—таки помню, как я ходил по другому берегу реки, смотрел алчным взглядом на университет и очень сокрушался, что меня там не было. Надолго у меня сохранился этот комплекс...» Теперь, по Фрейду, комплекс вытеснен и компенсирован памятником во дворе. Но Москве-то совершенно незачем было комплексовать и отличаться.

* * *

Три явных потрясения-повода побудили меня сесть за большую статью и даже книгу о Бродском и иже с ним, чтобы разобраться в чуждом творчестве, отталкивающем образе мыслей и строе поступков, но не ради какого-то развенчания маргинальности, как сказал Евтушенко (понятно, что теперь это не под силу любому автору, СМИ или творческому объединению!), а во имя главного — приближения к разгадке его влияния на огромное количество не слепых почитателей (никогда — клянусь! — не слышал, чтобы кто-то с восторгом цитировал стихи Бродского в застолье или в литературном споре, напевал его стихи, положенные неисчислимыми бардами на скучные мелодии), а на современных апологетов и эпигонов Бродского в поэтической среде. Это просто какое-то наваждение, общее место на пустом месте.

Лет десять назад Валентин Распутин пригласил меня на знаменитый фестиваль «Байкальская осень». В первое же утро, до всяких встреч и приемов, прямо из гостинцы Иркутска я поспешил солнечным утром на берег Ангары. Передо мной открылось величественное зрелище. Могучая река несла свои темно-бирюзовые воды, и струи ее то свивались, то плавилась в сверкающем



вете, а довольно-таки убогие строения на другом берегу скрашивались вереницей желтых лиственниц и синеющими всхолмлениями да угорами, которые поднимались за городской чертой. Бирюзовое, золотое и синее — торжество любимых цветов Андрея Рублева... Потрясенный этим завораживающим зрелищем, я вернулся к коллегам, и мы отправились в соседний Иркутский университет, на филологический факультет. Вошли в фойе и меня как громом поразило. На стене был прикреплен огромный плакат первой научно-практической конференции в учебном году: «Пушкин и Бродский». Не пушкинские мотивы и традиции в творчестве Бродского или (пусть так!) «Бродский против Пушкина», а четко: «Пушкин и Бродский», как два равновеликих поэта, прямо — на равных: Пушкин и Бродский! Я только развел руками, а увидевший мою растерянность Валентин Григорьевич сказал: «Да, у нас вот так, Саша, на филфаке!».

Встречи были теплыми, и прогулка по славному морю Байкала была хороша, но больше всего, кроме неприятной кражи бумажника с паспортом в гостинице, запомнился анонс такой вот конференции в университете. Потом это стало обычным явлением. В Англии живет ярая поклонница Бродского, влюбленный в него профессор Валентина Полухина, которая издала 15 книг о своем кумире. Представляя одну из них на радио «Свобода», она тоже не подыскивала особо оригинальных сравнений: «Я считаю, что Бродский действительно своего рода Пушкин XX века — настолько похожи их культурные задачи». А какие задачи? Помню, в одной из радиопрограмм в день рождения Пушкина были приглашены какой-то молодой поэт и почетный старец Лихачев. На вопрос ведущей, в чем же непреходящая ценность Пушкина? — стихотворец начал что-то мямлить про вечный поиск формы, про тематическую всеохватность, а литературовед был краток: «Пушкин выразил национальный идеал!» Вот она — главная задача поэта. Какой же идеал и какой национальности полнее всего выразил Бродский? Думаю, скорее, англо- и еврейско-американский, чем русский. Если исключить его лучшие стихи северного цикла.



И вот уже некто О.А. Кравченко на другом конце державы, в Донецке пишет литературоведческую работу, спокойно называя ее «Пушкин и Бродский»: «Творчество И.Бродского, нередко именуемого «современным классиком», является уникальным соединением предшествующих идей и смыслов. Как заметил Ю.М. Лотман, «...творчество Бродского питается многими источниками, а в русской поэзии все культурно значимые явления приводят, в конечном счете, к в той или иной мере трансформированной пушкинской традиции».[7,Т.3,294]. Ну, это ясно — все и вся восходит, но ведь нет работ «Пушкин и Кравченко» с безумными оборотами «в той или иной мере».

Сергей Довлатов (еще одна дутая фигура того же происхождения!) пишет письмо Георгию Владимову и, походя, упоминает о другой подобной работе, вернее, даже о безумном шаге вперед — Бродский выше Пушкина: «Если понадобится псевдоним, то подпишите — Д. Сергеев. Инициалы «С. Д.» не годятся, так подписывается в РМ Сергей Дедюлин. Между прочим, этот Дедюлин напечатал лет десять назад в «Вестнике РХД» статью «Пушкин и Бродский» (сравнение шло в пользу Бродского), подписал эту статью «С. Д.», и весь Ленинград был уверен, что это именно я помешался на почве любви к Бродскому». На самом деле статья «Пушкин и Бродский» («Вестник РХД», № 123, 1977) подписана инициалами Д. С. (не С. Д.), перепечатана из самиздатского журнала «37». Ее автор — не С. Д., и не Дедюлин, а Владимир Сайтанов; может быть, и сравнения «в пользу Бродского», в статье еще нет. Но само сопоставление жизненного пути и творчества Бродского с судьбой нашего национального гения вызвало в ту пору даже у Довлатова ощущение непомерного возвеличения Бродского. С годами это ощущение кощунства искусственно притупилось и размылось: ну, чего там долго рассуждать — оба гении...

Между тем его друг, а в какой-то мере учитель и нынешний воспеватель совершенно спокойно пишет: «Со временем Бродский вообще становится стопроцентно безрадостным поэтом, в его стихах все более и более проявляются элементы необарок-



ко, так как он обладал замечательно изощренным зрением, он умел вытащить метафору из любого положения, из любого слова. И хотя все эти метафоры или минорны, или злоязычны, или презрительны, но тут нет какого-то всемирного наплевательства. Он и по отношению к себе почти всегда выступает с такой отрицательной краской. Вот вспомним, как он себя описывает: «Кариес, седина, стыдно где...» — значит, он себя вполне заносит в тот серый минорный пейзаж, который он создает, глядя на наш мир». Более точную и совершенно антипушкинскую характеристику просто невозможно дать!

Исследователь творчества Бродского и его друг Петр Вайль уже спокойно отмечает, что последние дни Бродского «прошли под знаком первого русского поэта», и книгами, оставшимися после смерти на рабочем столе, были антология греческих стихов и томик пушкинской прозы. Сам же Бродский в заметках о поэтах XIX века писал следующее: «Пушкин дал русской нации ее литературный язык и, следовательно, ее мировосприятие». Бесспорная истина, но Кравченко, как и прочие, словно забывает о пушкинском пророчестве: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал» и начинает темнить: «Выстраиваемая Бродским прямая зависимость мировосприятия от языка в его оценке пушкинского творчества соотносима в его собственной поэзии с особой онтологией языка как некой основы бытия, содержащей в себе существование и смысл, ценность и конкретные оценки. Язык, обретающий в поэзии Бродского статус Абсолюта, тем не менее, нуждается в поэте, усилиями которого он и живет, реализуя свою творческую сущность». Туманно, но цель достигнута: поэты рассматриваются в одной плоскости, в равных духовных измерениях, без нюансов: оба классики.

Кстати, и сам Бродский стал с годами дерзко отзываться о Пушкине. В беседе с Соломоном Волковым он сказал: «Принято думать, что в Пушкине есть все. И на протяжении семидесяти лет, последовавших за дуэлью, так оно почти и было. После чего наступил XX век... Но в Пушкине многого нет не только из-за



смены эпох, истории. В Пушкине многого нет по причине темперамента и пола: женщины всегда значительно беспощадней в своих нравственных требованиях. С их точки зрения — с Цветаевской, в частности, — Толстого просто нет. Как источника суждений о Пушкине — во всяком случае. В этом смысле я — даже больше женщина, чем Цветаева. Что он знал, многотомный наш граф, о самоосуждении?». Правда, на Толстого, почему-то нелюбимого всеми еврейскими литераторами, в конце тирады съехал, но ореол полноценности, всеобъемлемости Пушкина — затемнил.

Как Маяковский и Есенин, сам Бродский тоже обращается по-свойски к памятнику Пушкину, причем, берет эпитафию из Э. Багрицкого, которого по эстетической, классовой и любой другой сущности должен был бы отторгать. Но нет — чувствует кровное родство с певцом революционных чисток и пускания в расход.

ПАМЯТНИК ПУШКИНУ

...И Пушкин падает в голубоватый колючий снег.

Э. Багрицкий

...И тишина.

И более ни слова.

И эхо.

Да еще усталость.

...Свои стихи

доканчивая кровью,

они на землю глухо опускались.

Потом глядели медленно

и нежно.

Им было дико, холодно

и странно.

Над ними наклонялись безнадежно

седые доктора и секунданты.



Над ними звезды, вздрагивая,
пели,
над ними останавливались
ветры...

Пустой бульвар.

И пение метели.

Пустой бульвар.

И памятник поэту.

Пустой бульвар.

И пение метели.

И голова

опущена устало.

...В такую ночь

ворочаться в постели

приятней,

чем стоять

на пьедесталах.

И эта бытовая, неуместная очевидность — «ворочаться в постели приятней, чем...» подставляй что угодно: стоять на эшафоте, мерзнуть в окопе, работать под снегом — все, что может предьявить «ровня Пушкину» перед лицом русского гения? Даже и говорить, по существу, не о чем...

Второе потрясение — участие в программе Александра Гордона «Закрытый просмотр», куда я попал... через Турцию. В центре города Сиде находится небольшой уютный отельчик 3*. Я приехал туда открыть купальный сезон в конце русской весны и поработать. А вообще Сиде слывет идеальным местом для влюбленных пар с тех самых пор, когда, по преданию, в городке устроили себе романтическое свидание Клеопатра и Марк Антоний. Что-то ни с работой, ни с влюбленностью не заладилось, и я бродил между античных развалин, возле античного театра с высокими арочными сводами, возведенными во втором веке до нашей эры, и площади, бывшей когда-то невольничьим рынком.



А больше сидел на веранде, возле бара, за бокалом плохого турецкого красного вина — караменыз шарап. Вокруг меня и дамы зрелые крутились, и более молодые современники подсаживались. В незнакомой компании заговорили о поэзии (кому-то, наверное, я ляпнул, что стихотворец), и вдруг блондин по имени Алексей спросил: «А как вы относитесь к Бродскому?» Дело шло к вечеру, я был уже разгорячен слегка и выдал по полной. Суть — коронная: дутая величина! Тут Алексей спросил: «А можете вы это же самое, но чуть помягче, повторить в программе Гордона?». — «Да где хочешь повторю — мягче, жестче...». Помощник Гордона попросил у меня визитку и, действительно, вскоре позвонил в Москве, прислал СД с записанным фильмом «Полторы комнаты». Я в два присеста досмотрел эту тягомотину, да еще наушники пришлось искать для ноутбука, потому что там много бытовых якобы разговоров с помехами, сливающихся бубнящих голосов, заунывного чтения стихов — в основном, Вениамином Смеховым, по-моему.

В общем, подготовился, выписал некоторые цитаты из Бродского, у которого ни одной строфы не могу запомнить, кроме, конечно, цитированной и не осуществленной: «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать...» Почитал даже дамские рецензии, они просто кишели восторгами: «Фильм наполнен стихами. Они звучат без надрыва и пафоса, звучат не потому, что в фильме о поэте они непременно должны быть, а потому, что они — концентрированное выражение времени. Подборка и их вкрапления — высоко профессиональны, они не просто произносятся за кадром, но, порой, служат и фоном для диалогов (например, в пивной посетители общаются строчками из Бродского)» или: «Анимация (в т.ч. рисунки поэта), стихи, хроники, видеозаписи с Бродским — все то, что трудно сочетается, слилось в удивительно органичную по композиции историю. Все, что есть в фильме — уместно, а это особенно важно, когда речь идет о гении, чей образ жив в памяти современников. Здесь нельзя превозносить, но и недооценивать невозможно». Кстати, надо добавить к словам восторженной дамы: в рисунках Бродского — много упитанных котов (по полтора кота!) да и сам он любил фотографироваться с котами на руках.



Мемориальная доска на доме Мурузи в Санкт-Петербурге, где жил поэт



Ну, и конечно, не было пределов умиления по поводу актеров «Здесь все приемы не новы, но сочетание их выверено режиссером абсолютно. Здесь не возникает желаний, как «подрезать» какие-то части фильма, — потому что всего в меру, а один кадр вмещает больше, чем на нем отображено. Вообще это фильм, в котором больше хочется говорить о тех, кто за кадром, может потому, что актеры Алиса Фрейндлих, Сергей Юрский — вне всяких сравнений, а внешнее сходство и манера речи Григория Дитятковского порой создают документальность истории: так похоже все на правду».

Так что, настроившись смотреть шедевр, я испытал страшное разочарование, но затянутый фильм мне на многое открыл глаза. Я сидел в студии, конечно, на той стороне, где высказывались приглашенные гости, считающие, что этот фильм смотреть не стоит. В день съемок была страшная жара, чувствовал я себя после бурного общения с друзьями накануне — неважно, но понимал, что выступаю у Гордона два раза — первый и последний, а потому без тени сомнений и дипломатичности ринулся в бой. Высказал все, что думал. Оставили, как всегда, далеко не все. Тогда я решил опубликовать рецензию на фильм, высказав попутные впечатления-размышления. Поразительно, что я нигде не смог ее опубликовать: в «Советскую Россию» прямо утром, по горячим следам, написал другой автор, а все остальные издания — от «Завтра» до «Литературной газеты» — не проявили к статье интереса. Я ли тому виной или Бродский? — не знаю, но в статье, считаю, кое-что дельное высказал. Вот эта не вышедшая статья.

ОТСТУПЛЕНИЕ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЕ: ТОРОПЛИВО ВЗДРОГНУЛ

В иной стране — прости! — в ином столетье
ты имя вдруг мое шепнешь беззлобно,
и я в могиле торопливо вздрогну...

Иосиф Бродский

«Ну, вот мы и стали жить в иной стране, в новом столетье. В этой стране 24 мая теперь редко по ТВ вспоминают о праздни-



ке славянской письменности и культуры, о дне рождения великого писателя Михаила Шолохова, зато все телеканалы и газеты наперебой обращаются не столько к поэзии, сколько к биографии Иосифа Бродского, который родился совершенно не в «свой» день, который в 90-е годы все-таки не захотел приехать в родной Питер даже по личному приглашению мэра Собчака. В году 70-летия Бродского показали не телефильм с инсценировками, как ведется на НТВ — «Точка невозврата» Об этой тенденциозной ленте НТВ, с психушками, слезками, планами угнать самолет и фразами типа: «В колхозе Бродский работал, как все — *выращивал* (выделено мною. — А.Б.) сено...» даже говорить не буду. Обращусь к двухчасовому полотну режиссера Андрея Хржановского (сценарий Юрия Арабова и самого режиссера) — первому, так сказать художественному, игровому фильму «Полторы комнаты», показанному, натурально, по Первому, конечно, в программе Александра Гордона с обсуждением. Вспомню подробнее: во-первых, в передаче с большим количеством участников всего не скажешь, а, во-вторых, и от сказанного далеко не все остается.

Вспоминая ту конференцию, которой огорошил меня Иркутский университет — «Пушкин и Бродский» — я боялся, что фильм будет сделан в этой плоскости: Пушкин и Бродский, тем более, что город на Неве и политические преследования их как бы объединяют. Но до таких высот создатели фильма и не посягнули подняться. В Центральном доме литераторов перед домашним просмотром я листал книгу Людмилы Штерн о Бродском «Поэт без пьедестала». Более всего мне не понравилась там одна фраза: «Мы были свои, мы были из его стаи». Все-таки, согласитесь, Иосифа Бродского нам лет двадцать подают как общенационального, а не стайного поэта. Более того, великого поэта XX века, а великие — выше стаи, кагала, нации даже. Я с этим возвеличиванием порой письменно и устно спорил, но вдруг появился фильм, который не вызывает никаких сомнений насчет моей правоты. Более антибродского фильма не снял бы и заклятый враг поэта.



Конечно, ночной просмотр и его обсуждение — это отчасти реклама, промоушен явно неудавшегося, духовно ничтожного фильма, который никогда не пойдет на широком экране, но все-таки надо было сказать хоть несколько слов правды, и я с готовностью пришел в студию, чтобы обозначить, проанализировать причины этого провала. Коллектив картины, судя по титрам, огромный, средств, включая бюджетные, было вложено с лихвой. Но почему же это получилось даже хуже, чем фильм о Сергее Есенине с Сергеем Безруковым в роли поэта? Главная причина, конечно — органическое, патологическое непонимание сегодняшними кинематографистами поэзии, ее природы, ее духовных высот. Нелюбовь к ней! Два режиссера, на мой взгляд, понимали и любили поэзию. Арсений Тарковский как талант и сын поэта, и гениальный Василий Шукшин, вышедший духовно из народной песни. Памятник им и поэту-сценаристу Шпаликову стоит у ВГИКа. Теперь мы имеем ситуацию полного непонимания поэзии и безлюбости, отторгающей лирику. Кажется, что все в этом фильме, где звучат или проборматываются стихи (причем на три голоса), поэзию — не любят. Все поголовно! Мать в исполнении Алисы Фрейндлих — Маша, как зовут ее в фильме (так же зовут кошку моих внучек), припечатывает: «Ты прости, Йося, но мы никогда не понимали твоих стихов». То же самое могут повторить все герои и создатели ленты.

После просмотра фильма даже хотелось защищать Бродского — от расхожих штампов, бытового мусора, от навязываемого 5-го пункта, наконец! Да, фильм мне органически не понравился, но ведь кто-то смотрел его и до меня. Он получил целую кучу каких-то призов — Гордон их долго перечислял. О фильме писали, но как! Прочитываю строки из восторженных и потому убийственных рецензий: «Поэту была мала эпоха, и фильм о нем идет на опережение». Каков слог! — «на опережение».... Чего? — суда времени или программы Гордона?

Верх восторга, журналистский писк: «Не важно, как вы относитесь к Иосифу Бродскому, любите или нет, понимаете или



нет, знаете или нет, — этот фильм для всех и каждого. Фильм Андрея Хржановского, как ни парадоксально, менее всего о Бродском». Вот те раз! Тогда зачем его обсуждали по ТВ? Если бы это был фильм о скромном диссиденте из Ленинграда — колыбели нынешней власти, об одном из Иосифов, названных в честь Сталина — разве бы возникла дискуссия? И наконец, последняя цитата из Эмилии Деменцовой, которая и подсказала эпиграф с названием статьи: «Многое ушло безвозвратно, ушел и Бродский, но он предвидел: «В иной стране — прости! — в ином столетии / ты имя вдруг мое шепнешь беззлобно, и я в могиле торопливо вздрогну». «Торопливо вздрогну» — ужасно непоэтично, просто антипушкински, если вспомнить упомянутую конференцию в Иркутском университете. Но зато переключается со «вздогами» Сергея Юрского.

В последних титрах (до них ни один нормальный зритель, даже любитель поэзии — в кинозале или дома — по-моему, не дотянет) сказано: «Авторы заверяют, что фильм является вымышленным произведением». Не понял. Тогда и назовите героя в плохом исполнении Григория Дитятковского просто «поэт» или «Йося» и не морочьте людям головы. Все-таки мы кое-что читали и понимаем, что многие эпизоды здесь продиктованы, навеяны или впрямую связаны с автобиографией Бродского, его беседами с Соломоном Волковым. Например, воспоминание о том, как пытающегося забраться на поезд старика поливают кипятком. Ужасный кадр, но еще страшнее сегодняшние официальные сообщения, что на юго-западе Москвы действует банда, убивающая пенсионеров. То есть бесчеловечная действительность — расширяется и потрясает. Но в ней все-таки есть, выживает поэзия. С ней в фильме — полный крах.

Первая главная неудача — выбор сценариста. Юрий Арабов начинал как стихотворец. Он судит о любом поэте со своих позиций, но забывает завет Крылова — «Суди, дружок, не выше сапога». Какого размера и роста у него сапоги — неизвестно. Друг поэта — Евгений Рейн крайне неудачно снялся в этом фильме (слишком грузен и стар для встречи в тех дале-



ких годах) и байка его неуместна с финалом: «Везде и повсюду жиды» — кто мог это сказать на Брайтон-Бич? Такой же еврей. Но своим присутствием в кадре он как бы выразил согласие с позицией создателей. А настоящий поэт должен бы — взбунтоваться! Вот для меня главная загадка — почему принял, из конформизма, из желания засветиться? Ведь в 60-е годы он входил в круг так называемых «ахматовских сирот» (вместе с Иосифом Бродским, Дмитрием Бобышевым, Анатолием Найманом), он знает и любит поэзию. Наконец, к юбилею он написал глубокую статью в «Литературку», где сказал о Бродском безжалостно точно: «...Видимо, в нем был и момент моральной опустошенности, чему очень, в общем, соответствует его судьба. Ранние гонения, бедная жизнь, измены возлюбленной, предательство друзей, расставание с родителями и необходимость выжить в новой среде, в эмиграции, — все это требовало какого-то жесткого и отстраненного взгляда на вещи. И он где-то в душе этот отрицательный цинический взгляд, безусловно, хранил, и некоторые корни его поэзии именно из этого душевного слоя и произросли».

Заметим, кстати, что «отрицательный циничный взгляд» не свойствен ни одному великому русскому поэту — ни гонимому Пушкину, ни трагическому Блоку, ни даже эмигранту Бунину. Кстати, и читатели на форуме «ЛГ» сразу откликнулись в таком духе. Ярослав Домбровский пишет: «Все тот же Бродский ... Есть такая поговорка: — «Кукушка хвалит петуха ...» Так и автор панегирика о Бродском. Ну, если евреи не похвалят сами себя — кто их еще похвалит? Даже Нобелевский комитет дано уже понял, что оказался в руках политиков, присваивая премии бездарным литераторам не за ЛИТЕРАТУРУ, а за ДИССИДЕНСТВО». Но перед обсуждением фильма ночью меня осенило, почему Рейн согласился так странно сняться. Ведь Бродский назвал его как-то своим учителем. Но после вручения Нобелевской премии этому никто уже не верил: как? — мало известный Рейн учитель!? Но, поглядев фильм, зрителям становится ясно, что учителем подобного Бродского может быть кто угод-



но: Рейн, Арабов, Сара Моисеевна из соседнего подъезда. Но уж не Батюшков, Баратынский, Платонов и Слуцкий, как оно было на самом деле.

Как же так получилось оно?
Кто натравливал брата на брата?
Что — двоим и в России тесно?
И в Америке тесновато?

Так писал Евтушенко, еще не оскорбленный Бродскими и пытающийся встать с ним на одну доску. Так что, Рейн решил избавиться от второго, чтобы не было тесно?

Иосиф Бродский — имперский поэт, по-своему эпический, отстраненный, хладный (не холодный даже, а — хладный, как Санкт-Петербург). Откуда это взялось, как вырос подобный характер в балтийских болотах? — вот что самое интересное, но опущенное в фильме. Поэт признавался: «Вы знаете, когда мне было шестнадцать лет, у меня возникла идея стать врачом. Причем нейрохирургом. Ну, нормальная такая мечта еврейского мальчика. И вслед появилась опять-таки романтическая идея — начать с самого неприятного, с самого непереносимого. То есть, с морга. У меня тетка работала в областной больнице, я с ней поговорил на эту тему. И устроился туда, в морг. В качестве помощника прозектора. То есть, я разрезал трупы, вынимал внутренности, потом зашивал их назад. Снимал крышку черепа».

Этого в фильме — нет.

Ладно, тут грубость жизни. Но нет и работы Бродского в геологической партии, о которой сам он увлеченно рассказывал! Нет его прикосновения к северной природе:

Я родился и вырос в балтийских болотах, подле серых цинковых волн, всегда набегавших по две, и отсюда — все рифмы, отсюда тот блеклый голос, вьющийся между ними, как мокрый волос...



В фаршированной рыбе фильма даже случайный волос не падает. Там нет и тени истинной биографии поэта. Ведь, кроме полутора комнат, куда он похотливо приводил девушек (перегородка с чемоданами трясась в кадре от экстаза), он все-таки постигал жизнь, оказывался в ее эпицентре.

Анна Ахматова в исполнении Светланы Крючковой появляется на миг с бутылкой водки на переднем плане и предрекает скорый суд над неизвестным поэтом. Но где же ее главное пророчество перед ссылкой в Норинское: «Рыжему делают судьбу (в другом варианте — карьеру)». Ведь в самую точку попала! Здесь — истоки Нобелевской премии.

Самуил Волков спрашивает про ссылку в Архангельскую область:

— А стихи вы там писали?

— Довольно много. Но ведь там и делать было больше нечего. И вообще, это был, как я сейчас вспоминаю, один из лучших периодов в моей жизни. Бывали и не хуже, но лучше — пожалуй, не было». От этого лучшего периода в фильме — одни невыразительные картинки самого Бродского. А ведь туда приезжали и друзья, и любимая, там были написаны самые светлые строки, наконец:

В деревне Бог живет не по углам,

Как думают насмешники, а всюду.

Он освещает кровлю и посуду.

И честно двери делит пополам.

Создатели фильма двери пополам не умеют делить или не хотят. У них — одна створка. И то больше ресторанно-буфетная. Таких сцен с выпивкой в фильме достаточно. Бродский писал на холодном канцелярите:

Коньяк в графине — цвета янтаря,
что, в общем, для Литвы симптоматично.

Коньяк вас превращает в бунтаря.

Что не практично. Да, но романтично.



В эвакуации. Череповец, 1942 г.

Фото А. И. Бродского. Из архива М. И. Мильчика



Тут Некрасов со строчкой «Купец, у коего украден был калач...» — просто Моцарт.

Но если о местечковой Литве — не получилось, то об империи — иногда удавалось, но в стихах, а не в дежурных интервью. Вот как он описывает в интервью Соломону Волкову день смерти Сталина:

«Я тогда учился в этой самой «Петершуле». И нас всех звали в актовЫй зал. В «Петершуле» секретарем парторганизации была моя классная руководительница, Лидия Васильевна Лисицына. Ей орден Ленина сам Жданов прикалывал — это было большое дело, мы все об этом знали. Она вылезла на сцену, начала чего-то там такое говорить, но на каком-то этапе сбилась и истощным голосом завопила: «На колени! На колени!» И тут началось такое! Кругом все ревут, и я тоже как бы должен зареветь. Но — тогда к своему стыду, а сейчас, думаю, к чести — я не заревел».

По-моему, это вошло в фильм, но я этой чуши не помню. Мне хватает своего промозглого мартовского дня в замоскворецкой школе №12. Нас, второклашек, собрала первая учительница Екатерина Никитична в строгом сером платье, всхлипнула и сказала: «Сегодня занятий проводить не будем». Я помчался радостный по Кадашевской набережной домой, шлепая по весенним лужам, но дома на следующий день взял «Пионерскую правду» и прочитал стихотворение какой-то школьницы. Помню его строчки до сих пор. Оно начиналось так:

Мартовский ветер холодный,
Флаги у каждаЫх ворот.
Горе волною огромной
Весь захлестнуло народ...

Бродский любил своего отца-морьяка, военного фотокорреспондента, который весьма плох в исполнении Сергея Юрского, похожего на дядю Митю из «Любви и голубей», но не с флота, а из Бердичева. По иронии судьбы, Юрский, сыграв еврейско-



го отца Бродского, который назвал сына в честь Сталина, потом сам сыграл вождя народа и борца с космополитами в бездарнейшем, сразу забытом телефильме.

ОТСТУПЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ: СТАЛИН И ИСТОПНИК

Вместо рецензии на телефильм «Товарищ Сталин»

Не спала жена, встречает:
— Где ты, как? — душа горит...
— Да у Ленина за чаем
Засиделся, — говорит...

А. Твардовский. «Ленин и печник»

Сталин жил на ближней даче,
Где звенела сосен медь.
И желал (никак иначе)
Тридцать градусов иметь.

Он отбился от народа,
Был врагами окружен
И сильнее год от года
Проклинал друзей и жен.
Жить хотел как будто вечность,
Править миром был готов.
И совсем про человечность
Позабыл. Но вдруг — Козлов!

Лейтенантик, близким ставший,
Не читавший умных книг,
Хоть от робости дрожавший,
Но исправный истопник.

Сталин с ним курил сигары,
Правил в «Правду» матерьял,



Тары-бары-растобары
На тропинках затевал.

Сталин жил на ближней даче,
От завистников устал,
Но Козлов, хлебнувший чачи,
Убивать его не стал.

Верным быть вождю поклялся,
А жена Козлову бряк:
— Где ты, с кем всю ночь прошлялся?
— Пил со Сталиным коньяк...

...Режиссерша И. Гедрович
Смело вывела на свет
Всю властительную сволочь,
Но, конечно, прошлых лет.

Вот зачем в финале близком,
Истопник почти без слов
Остается сталинистом,
Потому что он... Козлов!

Кстати, Бродский называл имперский Андреевский флаг лучшим флагом в мире! Вот пророческие строки, чисто имперские:

Лучше быть голодным и усталым,
Чем холопом доедать объедки,
Лучше быть в Империи капралом,
Чем царем — в стране-марионетке.

Как это злободневно звучит сегодня по отношению ко всем странам, твякующим на Россию! Но Бродский в нелепой кофте из местечкового фильма никогда бы не написал таких строк.

Сэр Исая Берлин на вопрос, почему Бродский, уже будучи лауреатом Нобелевской премии, избежал Израиля, подчеркивал:



«...Он не хотел быть еврейским евреем... На вопрос «Кем вы себя считаете?» Бродский отвечал: «Русским поэтом». Он не был иудеем ни по вере, ни по мироощущению...». Создатели фильма начисто опровергают это заявление.

Евгений Евтушенко в интервью «Московскому комсомольцу» сказал, как отрезал: «Бродский — великий маргинал, а маргинал не может быть национальным поэтом. Сколько у меня стихов о том, что придет мальчик и скажет новые слова. А пришел весь изломанный Бродский». Именно такого Бродского — из эпиграфа к этой главе — нам и навязывают по всем телеканалам любители проехаться в Нью-Йорк и Венецию для съемок на халяву. Теперь там посибаритничала большая съемочная группа фильма «Полторы комнаты». Ясно одно после просмотра: Бродского поставили на место, столкнув с усиленно воздвигаемого пьедестала великого русского поэта. Он торопливо вздрогнул, но фильм сработал на правду».

Эта статья, повторяю, не была опубликована, но, готовя ее, я обратился к целому ряду работ и полемик не только о Бродском, но и вообще к современному толкованию еврейской темы в искусстве. Например, неизвестный мне автор Андрей Буровский написал целую книгу «Вся правда о российских евреях», к которой взял эпиграф из А. И. Солженицына: «Правду всем надо уметь выслушать. Всем на свете. И евреям тоже». Он там и впрямь рубит правду, как шашкой — направо и налево, демонстрирует начитанность, знание еврейской истории и состав крови всех поминаемых героев. Вот характерный отрывочек: «Национальность семей меняется, хотя чаще всего не за одно поколение. Сохранился прелестный анекдот: как-то на придворном балу к маркизу де Кюстину подошел император Николай I.

— Маркиз, по-вашему, тут все русские?

— Конечно, ваше величество.

— Ничего подобного! Вот это — поляк, вон тот немец. Это — татарин, это — грузин, это — крещеный еврей, а вон там — финн.

— Тогда где же русские?!

— А вот все вместе они русские.



Действительно, а как насчет правнука раввина Александра Блока? Как насчет белогвардейца Абрама Самойловича Альперина, главы Осведомительного агенства в правительстве генерала Деникина? Автора лозунга: «Лучше спасти Россию с казаками, чем потерять ее с большевиками»? Они кто? А автор добрых русских сказок про теремок и про козла, кормившего бабу и деда, Самуил Яковлевич Маршак? Еврей, да? А автор детской классики, Мухи-Цокотухи и Бармалея, еврей по отцу Корней Чуковский?

Или прав еврей на четвертую часть, великий русский ученый Лев Николаевич Гумилев? Прав в том, что есть суперэтноты, этноты и субэтноты? Это уже хоть что-то объясняет: например, то, что Маршак мог быть одновременно этническим евреем и в то же время русским интеллигентом, частью русского суперэтноты.

Не случайно на Западе четко различается национальность как подданство и этническое происхождение, которое в документах не учитывается и является глубоко частным делом. Как цвет волос или привычка поедать морковь на ужин.

Кстати, насчет определения еврея по матери... В том, что некоторые евреи считают «своими» детей именно еврейки, а не еврея, некоторые видят пережитки матриархата и тем самым доказательство невероятной древности еврейства.

Но многие еврейские народы ведут счет этнического родства вовсе не по матери, а по отцу: китайские евреи, персидские еврей-таты, еврей Йемена. И по отцу, и по матери считает человека евреем Реформистская синагога».

В общем — ничего не поймешь, кроме одного посыла: у многих выдающихся поэтов и ученых была еврейская кровь и потому — особый ум. Этому-то главному интеллектуальному открытию посвящена отдельная главка: «Предательское утверждение». Приведем ее: «Наверное, это очень нехорошее, предательское и возмутительное утверждение. Но я искренне считаю — еврей действительно умнее нас. Нас — это в смысле любых гоев. В том числе и поэтов они составляют заметную часть элиты в любой стране, где еврей есть, а преследование евреев не очень сильное.



Поэтому — а не в силу деятельности масонских лож или тайного мирового правительства.

Еврей действительно интеллектуальнее остального населения Земли, и очень многие явления их истории порождены именно этим. Догнать их — это единственный способ действительно победить евреев, стать «не хуже».

К сожалению, чаще всего христиане выбирали другой путь — путь фиктивной победы. То есть изгоняли, ритуально презирали, игнорировали их превосходство. И придумывали самые невероятные объяснения того, почему «они» успешно конкурируют с «нами». Ведь если «они» — хитрые заговорщики, подлецы, обманщики... Тогда они вовсе и не превосходят нас ни в чем! У них не только можно не учиться... у них нельзя учиться! Ни в коем случае!

История взаимоотношения евреев и христиан — это история векового непонимания друг друга. Виноваты в нем, как всегда, обе стороны, но зададимся вопросом все-таки о своей половине вины. Почему гой веками не желали ничего слышать о том, что еврей их хоть в чем-то превосходит? Почему так упорно отыскиваются самые невероятные признаки заговора, групповщины, сговора, глобального обмана... одним словом, какой-то нечестной игры?

А потому, что так приятнее думать. Гоям, видите ли, обидно. Как в песенке Окуджавы: «Кричат им вослед „дураки!“, „дураки!“ // А это им очень обидно». Ишь, ходят тут всякие носатые, да еще носы задирают, будто шибко умные!»

Ну вот, и Окуджаву процитировал, не указав, какой он национальности: мол, и так ясно. После таких глав как-то и развенчивать дутую фигуру малообразованного Бродского нелегко становится: просто, дескать, автор завидует признанному гению, который всех гоев в XX веке превзошел. За это его в СССР русские и гробили. Что из того, что топил его, как потом и Евгения Рейна, еврей-авантюрист и карьерист Лернер, о котором Рейн целую новеллу в «Литературке» написал? Имеет ли какое отношение к выдворению Бродского то, что в это время ничего не могло решиться без «грека» Ю. Андропова? Нет, только черная зависть русских, которые носятся со своими Есенинами,



Клюевыми, Рубцовыми и Кузнецовыми не позволяют им пасть ниц перед гениальностью Бродского. Но мне, дружившему со многими евреями — студентами, туристами, литераторами, печатавшему лучшие поздние стихи Б. Слуцкого, заочно сделавшего Бродского поэтом, глубоко плевать на вековое превосходство априори. Я хочу понять, в чем внушаемое нам и уж тем более молодым поэтам первенство?

Наша многострадальная страна находится в таком периоде, когда «преследование евреев было не очень сильное», как выражается автор, и евреи впрямь составляют большинство в финансовой, торговой, пропагандистской элите. А ведь были года в XX веке, когда, напротив, они преследовали коренное население, навязывали свое мировоззрение, царили в официальной литературе. Автор «Всей правды о российских евреях» сам приводит ярчайшие примеры антирусской, антиправославной, да, кстати, и антиеврейской поэзии:

«Лирический герой стихотворения Багрицкого отвергает вовсе не русский и не какой-то абстрактный, а вполне конкретный, осязаемый и узнаваемый еврейский быт. Отвергается в первую очередь система ценностей, ориентиров. Ее сторонники, «ржавые евреи», как раз и скрестили острия своих «косых бород», чтобы не дать ребенку коснуться звезды новой жизни.

И медленно, как медные полушки.
Из крана в кухне капала вода.
Сворачивалась. Набегала тучей.
Струистое точила лезвие...
— Ну как, скажи, поверит в мир текущий
Еврейское неверие мое?
Меня учили: крыша — это крыша,
Груб табурет. Убит подошвой пол.
Ты должен видеть, понимать и слышать,
На мир облокотиться, как на стол.
А древоточца часовая точность
Уже долбит подпорок бытие.
...Ну как, скажи, поверит в эту прочность
Еврейское неверие мое?



С отцом. 1951 г.
Фото М. М. Вольперт. Из архива М. И. Мильчика



Автору хочется другого мира — не диалектического, текущего, не стабильного, патриархального... а сюрреалистического, безумного:

И все навыворот,
Не так, как надо.
Стучал сазан в оконное стекло;
Конь щебетал; в ладони ястреб падал;
Плясало дерево,
И детство шло.

Такой вот мир подарила Эдуарду Багрицкому звезда революционного счастья, а не пускали его в этот чудный новый мир паршивые «ржавые евреи», сдуру полагавшие, что пол находится снизу, и ловившие сазанов в реках, а не в облаках.

Что может удержать юношу в этом скучном, ржаво-положительном мире? Любовь? То, что сказано о любви в стихотворении «Происхождение», я вынес в эпиграф.

Родители?
Но в сумраке старея
Горбаты, узловаты и дики,
В меня кидают ржавые евреи
Обросшие щетиной кулаки».

Но ведь и Бродский «ловит сазанов» в холодных облаках и, по сути, порывает со своими родителями-евреями. Вернемся к фильму и образу еврейского поэта.

Мать Бродского умерла в 1983 году, отец — год с лишним спустя. Допустим, что перед этим им не позволили совершить поездку к сыну, который уже перебрался в Нью-Йорк. Но почему он ничего не придумал для встречи в третьей стране, а главное, не приехал на могилу родителей, когда его так звали в Россию с перестроечных времен?

В фильме «Полторы комнаты» есть характерная сцена. Собралась какая-то богемная компания в Нью-Йорке, льется красное вино. Бродский решил под ее шум и гам позвонить маме.



— Ты меня слышишь?
— Я тебя слышу?
— Ты откуда?
— Оттуда.
— Единственное, что мы хотим в жизни — увидеть тебя.
Что ты делал вчера?
— Мыл посуду.
— Мыть посуду — это полезно.
— Что ты ешь?
— Сейчас, например, ел омаров. Раков помнишь? Омары еще больше и противнее.

Связь прерывается (намек, наверное, что прослушивают и прерывают «там»). Бродский садится за стол, Рейн дает ему прикурить и рассказывает анекдот-быль: «Идем в темноте. Подходит какой-то тип. Спрашивает закурить — Бродский отдает ему всю пачку. Потом тот говорит: «У вас доллара не найдется?». Бродский дал ему десять. В это время я щелкнул зажигалкой, огонек осветил наши лица, и тогда попрошайка говорит: «Кругом одни жида!».

Бродский подходит к микрофону и начинает петь, перепутав порядок строк в песне Долматовского и Фрадкина: «После трудов (вместо после тревог) спит городок»... Все подхватывают советскую песню, доходят до строк:

Ночь коротка, спят облака.
И лежит у меня на ладони
Незнакомая Ваша рука...

«Стоп-стоп-стоп! — кричит Бродский. — Вы неправильно поете: надо «и лежит у меня на погоне». Вспыхивает спор. Бродский подходит к старой княгине чуть ли не императорской фамилии, которую у нас в перестройку любили показывать по телевизору, и спрашивает: «Ваше высочество, как надо петь?». Та не к месту сквозь шум декламирует скабрёзную частушку. Слышится только две последние строки:

Погляди, честной народ:
Нет, не тот меня е..т.



Смех, гвалт. Тогда Бродский снова набирает телефон мамы.
— Мама, хочу задать вопрос. У нас еще пластинка такая была. Как там пелось: «И лежит у меня на ладони или погоне незнакомая Ваша рука?». Мама поет правильно: «После тревог спит городок... И лежит у меня на ладони...». Потом подходит отец, подпеваает. Мама в исполнении Фрейдлих начинает рыдать от нахлынувших воспоминаний, Юрский ее обнимает.

— Мама, что случилось? (Пауза.)

Не дождавшись ответа, сынок спокойно кладет трубку.

Очень характерная сцена. А говорят, что мама для еврейского сына — это все... А каковы стихи памяти матери:

Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга,
нет! как платформа с вывеской «Вырица» или «Тарту».

Но надвигаются лица, не знающие друг друга,
местности, нанесенные точно вчера на карту,
и заполняют вакуум. Видимо, никому из
нас не сделаться памятником. Видимо, в наших венах
недостаточно извести. «В нашей семье, — волнуясь,
ты бы вставила, — не было ни военных,
ни великих мыслителей». Правильно: не вским струям
отраженье еще одной вещи невыносимо.

Где там матери и ее кастрюлям
уцелеть в перспективе, удлиняемой жизнью сына!

То-то же снег, этот мрамор для бедных, за неимением тела
тает, ссылаясь на неспособность клеток —
то есть, извилин! — вспомнить, как ты хотела,
пудря щеку, выглядеть напоследок.

Остается, затылок от взгляда прикрыв руками,
бормотать на ходу «умерла, умерла», покуда
города рвут сырую сетчатку из грубой ткани,
дребезжа, как сдаваемая посуда.

Начинается и заканчивается этот бытовой реквием двумя
отвратительными метафорами-сравнениями. Первая строчка
ошарашивает: «Мысль удаляется, как разжалованная прислуга»,



и оставляют в недоумении абстрактные города в конце (даже не
Петербург, Яков Гордин!), которые рвут сетчатку тоски или сне-
га «дребезжа, как сдаваемая посуда». Уф-ф...

Как мы знаем, Бродский хоронил Анну Ахматову. Вот что
пишет Надежда Мандельштам. Правда, надо оговориться: есть
две версии «Второй книги воспоминаний», — одна вышла в Па-
риже, другая опубликована в Москве, на волне «перестройки».
Вдова поэта, сознательно бежавшего от еврейства, рассуждает:
«Откуда взялось столько евреев после погромов и газовых ка-
мер? В толпе, хоронившей Ахматову, их было непропорциональ-
но много. В моей молодости я такого не замечала. И русская ин-
теллигенция была блистательна, а сейчас раз-два и обчелся...
Мне говорят, что ее уничтожили. Насколько я знаю, уничтожали
всех подряд, и довод не кажется мне убедительным. Евреи и по-
лукровки сегодняшнего дня — это вновь зародившаяся интелли-
генция». В книге, вышедшей в Париже, конец абзаца несколько
красочнее: «Евреи и полукровки сегодняшнего дня — это вновь
зародившаяся интеллигенция. Все судьбы в наш век многогран-
ны, и мне приходит в голову, что всякий настоящий интеллигент
всегда немного еврей». Сильно сказано и в точку! Именно эту
мысль исподволь и стремятся навязать России. Если ты хоть не-
много еврей — по крови, вере, пристрастиям, чертах натуры —
то можешь претендовать на роль интеллигента. Даже внешние
черты при этом — неважны.

Андрей Буровский — автор книги, посвященной еврейке-
жене, утверждает, что исследования, проведенные в Европе, до-
казали, что евреи ничуть не отличаются от тех народов, среди
которых живут, и столь бесполезные исследования пришлось
свернуть.

Как известно, Бродский был рыжим русским евреем, что в
процентном отношении — является редкостью. Полтора рыжих
кота, чьи изображения встречаются в его рисунках и навязчиво
обыгрываются в анимационных кадрах фильма «Полторы комна-
ты», и тут попадают в элитный ряд.

В этот круг избранных, если не по крови, особому лицу и
якобы наследственному уму, то хотя бы по мировосприятию и



смутной поэтике, жаждет попасть огромное количество современных начинающих стихотворцев. Потому-то третьей причиной написания книги о вредности Бродского стала тоска по поводу наблюдаемого процесса «йосифления» современной поэзии. Прямым толчком стало участие во 2-м фестивале поэзии и песни «Во славу Бориса и Глеба» в городе моей армейской молодости — Борисоглебске. Поэтический конкурс проводится на нем добросовестно: поэты, в основном, молодые, присылают стихи заранее, в областном центре Воронеже работает строгая отборочная комиссия под председательством Александра Нестругина — автора многих книг, а по профессии — юриста, судьи. Мне как председателю жюри предложили подборки возможных лауреатов, в том числе, претендентки на «Гран-при» фестиваля Натальи Рузанкиной. Она историк по образованию, преподаватель Общецерковной истории Саранского Духовного училища, член Союза писателей России с 2009 года, автор трех книг и лауреат премии Главы Мордовии. То есть профессионально, конечно, опытней и выше многих конкурсантов. Начал читать заглавное стихотворение:

* * *

Я хочу от России очнуться внезапно,
Где-нибудь в небесах, в васильковом дыме,
Повторяя губами тысячекратно
Словно сон, ее забытое имя.
Я припомню все, что было не с нами,
Отчего так долго и зло болели:
Ледяное зарево над глазами,
Крик колес, и холод вечной шинели.

Это строфа повеяла чем-то знакомым — из поэзии Бродского: «очнуться от России», «все, что было не с нами», «холод вечной шинели». Дальше пошло хорошо знакомое, то, что Синявский (Абрам Терц) называл «стилистическим расхождением с советской властью». Правда, времена были как-то перепутаны: о какой России пойдет речь?



Почему нас с тобой тогда не убили
Где-нибудь у стены, заросшей бурьяном,
Почему в лучах полуденной пыли
В зеркалах наши лица, как в древних рамах?
Я хочу проснуться от *этой* России,
От дождливых лиц, от просторов душных,
Я хочу лежать в незабудках синих,
Угасая с той, великой, минувшей.
Опустеют поля, пересохнут реки,
И последний воин ее покинет,
А я с ней и в ней на вечные веки
В этом сне. А спящие сраму не имеют...

Да нет, Наталья, подумалось мне: спокойно спящие, зная, что творится в нынешней России — срама имеют! Но знакомый отзвук поэтики Мандельштама и особенно Бродского чудился в «дождливых лицах», в «лучах полуденной пыли», в других строчках. Наконец, Рузанкина сама открыла карты.

* * *

Все крепко спят в объятьях крепкой тьмы,
А гончие уж мчат с небес толпою,
Не ты ли, Гавриил, среди зимы
Рыдаешь здесь один, впотьмах, с трубою?

Иосиф Бродский.

«Большая элегия Джону Донну»

Когда подул сквозняк виолончели,
Выстуживая своды добела,
Как высоко, как празднично горели
Два ангельских заточенных крыла!
Был воздух церкви пряничен и мягок,
И медом в сотах плавилась звезда,
А мы вошли, и, не снимая шапок,
Приблизилась к предвестнику Суда...



Тут не в эпиграфе даже дело. Кстати, содержательной и лексической переключки особой в стихотворении и нет, кроме строфы:

Лишь два крыла заточенные возле
(чего и кем заточенные? — А.Б.)

Напоминали о Верховном дне,
Но спали: меч, труба и свора песья
Тех гончих, что пойдут с небес во мгле...

Суть — в самом неуловимом подходе и следовании кумиру при выстраивании стиха, при отборе образных средств и поиске интонаций. А ведь Рузанкина из глубинной Мордовии — одаренный поэт, и в цитируемом стихотворении есть замечательная, образная строфа:

Архангел спал. И, как фарфор, был тонок
Весь этот мир, стоящий на китах,
Спал, розовея, плача, как ребенок,
Запутавшийся в луговых цветах...

Сидел и думал над ее стихами: как бы она сама не запуталась в дебрях стилистики Бродского и еще: как не присуждать ей вопреки решению остальных членов жюри «Гран-при»?

Моя дипломатическая задача упростилась: оказалось, что она не почтила фестиваль своим присутствием, даже несмотря на намеки организаторов, что ей светит награда в виде сертификата на бесплатное издание книги.

Я сказал коллегам: «Давайте заочно никому наград не присуждать. Это же фестиваль: пусть выйдут победители на сцену Борисоглебского театра, прочтут свои стихи, получат прилюдно завоеванное».

Но сам факт такого влияния на одаренную, образованную поэтессу — преподавателя Духовного училища меня поразил...

Хотя и сам Бродский впитывал творчество своих предшественников. Он не раз подчеркивал, что своими учителями считает



С матерью. 1946 г.

Фото А. И. Бродского. Из архива М. И. Мильчика



Кантемира, Державина, Баратынского, Вяземского. В XX веке — Ахматову, Пастернака, Заболоцкого, Клюева. Из последнего поколения — Слуцкого. Вот лишь некоторые истоки. Александр Блок:

И вечный бой.
Покой нам только снится.
И пусть ничто
не потревожит сны.
Седая ночь,
и дремлющие птицы
качаются от синей тишины.

Вот Державин — в стихах «Маршал Жуков»:

Маршал! поглотит алчная Лета
эти слова и твои прахоря.
Все же, прими их — жалкая лепта
родину спасшему, вслух говоря.
Бей, барабан, и военная флейта,
громко свисти на манер снегиря.

Вот строки из «Рождественского романса», посвященного Евгению Рейну:

...и выезжает на Ордынку
такси с больными седоками,
и мертвецы стоят в обнимку
с особняками.

Это — Анна Андреевна и ее окружение.

И, конечно, стилистически Бродский был совершенно ушиблен стихами Марины Цветаевой. Евгений Рейн пишет: «В его поле зрения, видимо, попали советские поэты 20-х годов: Тихонов, Багрицкий, Сельвинский, и его поэтика сильно изменилась, он не стал стопроцентным подражателем, но он резко



отошел от этого своего переводного модернизма и стал писать иначе. «Воротишься на Родину, ну что ж...» или «Не забывай никогда, как плещет в пристань вода». Однако, по всей видимости, его это тоже мало устраивало. Он искал что-то другое, искал и нашел.

Я прекрасно помню момент, когда это случилось. Это было седьмого ноября 61-го года. У нас был удивительный приятель, который уже умер, — Борис Позизовский. У Позизовского была квартира на Коломенской улице в Ленинграде. И наша компания часто там собиралась.

Мы собрались по поводу седьмого ноября, хотя никто из нас седьмое ноября, естественно, не отмечал, просто удобный случай для того, чтобы поболтать и выпить. И кто-то из моих московских приятелей, Валя Хромов или, может быть, это был Леня Чертков, приехал из Москвы и привез машинописные перепечатки поэм Цветаевой. (В те времена было заведено, что на ноябрьские праздники ленинградцы ездили в Москву, а москвичи — в Ленинград.) Это были «Поэма Конца», «Поэма Горы», «Царь-девица» и «Крысолов». И эти поэмы они передали мне, причем я должен был их вернуть дня через три, когда приятели уезжали обратно в Москву. И так как прочесть эти поэмы каждый из нас за столь короткий срок не успевал, то мы собрались у Позизовского и, попивая сухое вино, стали их там читать вслух с листа. И, наверное, на Бродского это произвело громадное впечатление. Он подошел ко мне и сказал, что умоляет меня дать ему на одну ночь всю пачку Цветаевой. И я ему на одну ночь эту пачку дал. И, видимо, это так совпало с умонастроениями Бродского в тот момент, что он сделал решительный поворот в сторону Цветаевой.

Немедленно в его стихах стала проявляться цветаевская техника, с ее таким витым, веревочным стихом, со всеми цветаевскими настроениями и идеями. И приблизительно в это же время он задумал поэму «Шествие», которая чрезвычайно похожа на Цветаеву, особенно на «Крысолова», буквально во всех отношениях. От конструкции, введения отдельных персонажей, самой



техники стиха до максималистских, цветаевских идей. Это цветаевское влияние, оно очень обширно и значительно в творчестве Бродского, однако в таком чистом виде оно проявилось главным образом в поэме «Шествие». К этому времени он уже как бы созрел для того, чтобы создать нечто свое, и в некоторых его стихах, скажем, 61—62-го годов, это отчетливо проявляется. Им еще владеют такая цветаевская энергия, цветаевский звук, мелос, но стихи уже можно считать вполне «бродскими», если можно такой термин употребить».

Так вот, многие поклонники и эпигоны Бродского, в отличие от него, не обращаются к первоисточкам, а сразу начинают эпигонствовать, брать самое худшее из стихов кумира: нарочитую усложненность, канцеляризмы и бытовизмы, многословие и невнятицу.

Он учился, конечно же, и у Ахматовой, а потом стал открещиваться от благородного влияния. Сегодня же вообще творится незнамо что. Приехал из упомянутого Борисоглебска, купил ради телепрограммы пятничный номер «Московского комсомольца», а там — статья уже о второй книге «Анти-Ахматова» некоей авторши, которая не писательница, не литературовед, даже не филолог! Она — педагог-дефектолог. Не стану ни фамилию называть, ни в ненужную полемику вступать. Замечу только, что рукопись «Анти-Ахматовой» была окончена в 2005 году и принята в работу петербургским издательством «Лимбус Пресс», главным редактором которого был в то время известный критик Виктор Топоров, написавший к книге предисловие.

Кто-то утверждает, что и всю книгу он написал.

Меня потрясает само время, которое нам досталось в литературе. В 2008 году «Анти-Ахматова» вышла одновременно в двух сериях (одна из которых была создана под «Анти-Ахматову») с разными обложками в минском издательстве «Современный литератор», входящем в издательскую группу «АСТ». Издание 2008 года вышло с самой незначительной редакторской правкой, в нем не были исправлены даже самые грубые ошибки



предыдущего издания почти в 600 страниц помоев на Анну Андреевну. Обычно корректная актриса Алла Демидова не сдержалась в адрес авторши: «Анти-Ахматова» — ужасная книжка, написала ее какая-то, простите меня, баба, которая говорила, что Ахматова только и занималась тем, что делала свою биографию, совершенно забывая о том, что стоит за творчеством Ахматовой».

Зато неизвестный поэт по прозвищу Игорь Сид очень ее похвалил: «Очень давно не возникало этого ощущения: ВЕЛИКАЯ КНИГА... «Анти-Ахматова» величественна не в литературном или научном смысле, — конечно, можно высказать к ней много локальных претензий, — а в плане философском и социокультурном. Книга наконец-то развенчивает миф об Ахматовой, который весь опирается на вековечную российскую потребность в создании кумира и бездумном ему поклонении. Представлен колоссальный фактологический материал...» Но там все факты были — не новы.

Почти сразу по выходе «Анти-Ахматовой» Елена Чуковская через «Российскую газету» заявила о нарушении своих прав на написанные ее матерью «Записки об Анне Ахматовой»:

«К своему изумлению, я обнаружила, что из 560 страниц 61 страницу занимают надерганные цитаты из «Записок об Анне Ахматовой» моей матери Лидии Корнеевны Чуковской. Я бы хотела подчеркнуть, что Лидия Корнеевна никогда не разрешала печатать отрывки из своих записок, сколько ее ни уговаривали. Потому что всегда считала, что никакая часть не передаст целиком облика ее героини — Анны Ахматовой».

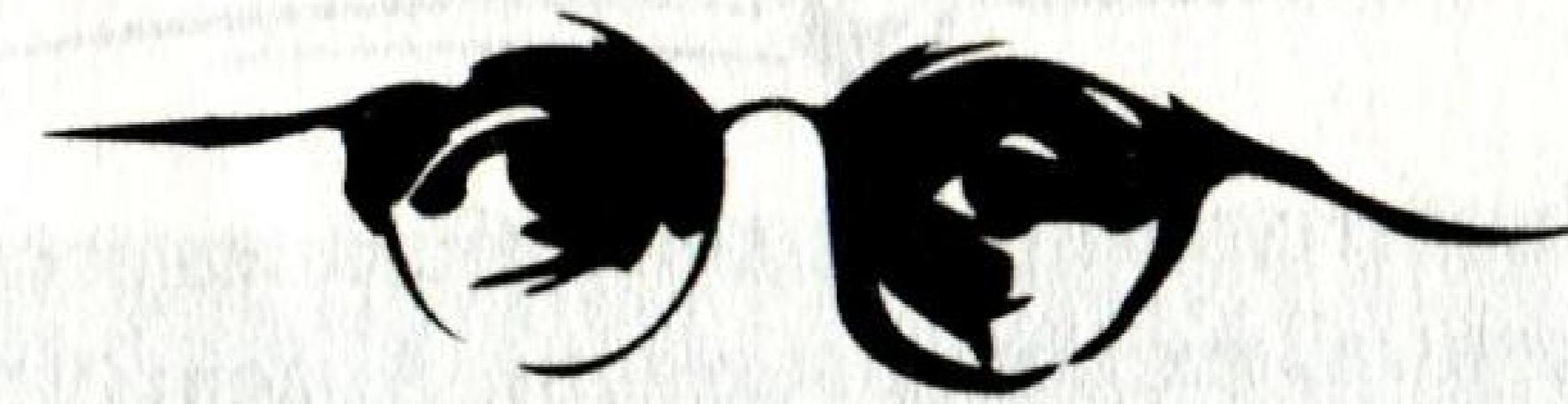
И вот — «МК» рекламирует вторую книгу дефектолога. Вспомнил я сей гнусный факт не только потому, что это стало какой-то последней каплей, переполнившей чашу терпения, налитую всклень всем вышперечисленным, но и потому, что всплыли раздумья: надо ли развенчивать саму биографию Бродского, так удачно построенную незадачливыми преследователями и последователями, присочиненную им самим и его восторженной «своей стаей» или все-таки больше касаться духовно-поэтиче-



ской, нравственной стороны этого вредоносного явления — огромного, как полтора кота, по имени Бродский?

Ну, а самый мой прагматический вопрос был: найдется ли издательство для книги «Анти-Бродский», если условно повторить тип издания? — вообще повисал в воздухе. Но я все-таки написал эту книгу, разбив ее на главы, состоящие из моих раздумий и критических суждений, чужих статей, где панегирики разоблачают Бродского безжалостней, чем поношения, интервью с ним и его апологетами, стихов и воспоминаний его эпигонов и товарищей по эмигрантской среде. Пестрое собрание глав получилось, но, по-моему, объемное и объективное.

*Иосиф
Бродский*



ВЕЛИКАЯ МАТЬ АХМАТОВА И СОКРАЩЕННЫЙ ХРИСТИАНИН

Кот — это такой сокращенный лев.

Как мы — сокращенные христиане.

Иосиф Бродский

Иосиф мяукал за столом и в школьном хоре, он признавался, что если кем-нибудь и хочет стать в будущей жизни, так только усатым и хвостатым. Рыжий кот — излюбленная автоаллегория Иосифа Бродского. Поэт всю жизнь ассоциировал себя с котом: и в переносном смысле — когда писал о том, что коту безразлично, какая власть на дворе, и в прямом — «Я понял, что я — кот», что в прошлой жизни был котом, и в будущей хотел бы им оставаться. Он даже придумал свой особенный мяукающий язык. Да и в манерах, и в личности Бродского знакомые находили много кошачьего. Это первой заметила Анна Ахматова. Когда Бродскому было 21 год, он был представлен Анне Андреевне. Юный поэт преподнес ей букет цветов и тетрадку со своими стихами. Про одно из стихотворений — «Народ» Анна Андреевна обмолвилась: «Или я вообще ничего не понимаю в поэзии, или это гениально». Многие авторы панегириков Бродскому считают, что это признание совершенно лишено многозначительности и ироничности. Напрасно. Помню, Марк Соболев и Марк Максимов рассказывали мне в литературной поездке, как поэты в Ленинграде стали допытываться у Ахматовой: «Как Вам Иосиф Бродский?» — «Гениальный поэт» — «Ну, а перед лицом великой русской поэзии» — «Посредственный, конечно» — «Ну, а перед Богом, Анна Андреевна» — Ахматова только вздохнула...

Английская профессорша Валентина Полухина пишет в своей статье «Ахматова и Бродский (к проблеме притяжений и от-



талкиваний)»: На сегодняшний день больше сказано о родстве двух поэтов, чем об их расхождении. А между тем сама Ахматова заметила уже в ранних стихах Бродского нечто чуждое ее собственной поэтике, выразив это недоумением: «Я не понимаю, Иосиф, что вы тут делаете: вам мои стихи нравиться не могут». На ее глазах лирика Бродского лишалась простоты, менялась в сторону абстрагирования эмоций, пропитывалась философской рефлексией. Ахматовскому немногословию предпочитались длинные логические рассуждения, ее скупой метафоричности — пир изоощренных метафор, построенных нередко исключительно на остроумии и парадоксе. Учитывая и другие характерные черты поэтики Бродского, например, столкновение возвышенного и вульгарного, введение в лирику всех подсистем языка от научной терминологии до мата, культивирование усложненной строфики, увлечение составными рифмами и анжанбеманами, что ведет к иному, чем у Ахматовой, построению строки, строфы и образов, нам придется усомниться в их стилистическом родстве.

Говоря о своих отношениях с Ахматовой, Бродский с благодарностью признает, что именно она наставила его не то что на путь истинный, но с нее-то все и началось. И... «стихи ее мне чрезвычайно нравились и нравятся, но вместе с тем... вместе с тем, — говорит он, осторожно подбирая слова, — это не та поэзия, которая меня интересует».

Детальное сравнение стихотворений двух поэтов, написанных в разной художественной манере, показывает, что процесс ассимиляции наследия Ахматовой в поэзии Бродского не так прост. Предметом сравнительного анализа могут послужить их «венецианские» стихи. Среди нескольких стихотворений, посвященных Венеции, у Бродского есть одно, которое содержит прямую отсылку к ахматовской «Венеции» в незакавыченной цитате «золотая голубятня»:

И я когда-то жил в городе, где на домах росли
статуи, где по улицам с криком «растли! растли!»
бегал местный философ, тряся бородкой,
и бесконечная набережная делала жизнь короткой.



На лыжах. 1950 г.
Из архива Я. А. Гордина



Теперь там садится солнце, кариатид слепа.
 Но тех, кто любил меня больше самих себя,
 больше нету в живых. Утратив контакт с объектом
 преследования, собаки принохиваются к обедкам,
 и в этом их сходство с памятью, с жизнью вещей. Закат;
 голоса в отдалении, выкрики типа «гад!
 уйди!» на чужом наречьи. Но нет ничего понятней.
 И лучшая в мире лагуна с золотой голубятней
 сильно сверкает, зрачок слезя.
 Человек, дожив до того момента, когда нельзя
 его больше любить, брезгуя плыть противу
 бешеного течения, прячется в перспективу.

1985

Ахматовское стихотворение открывается позаимствованной
 Бродским двойной метонимией, намекающей на обилие в горо-
 де золотых куполов и голубей:

Золотая голубятня у воды,
 Ласковой и млеюще-зеленой;
 Заметает ветерок соленый
 Черных лодок узкие следы.
 Столько нежных, странных лиц в толпе,
 В каждой лавке яркие игрушки:
 С книгой лев на вышитой подушке,
 С книгой лев на мраморном столбе.
 Как на древнем, выцветшем холсте,
 Стынет небо тускло-голубое...
 Но не тесно в этой тесноте,
 И не душно в сырости и зное.

Август 1912

Прежде всего эти стихотворения, — вещает Полухина, — от-
 личаются друг от друга своей метрической формой...».

Да не формой и размером, а — всей сутью! И это прекрасно
 чувствовал сам Бродский. Любопытно, что за несколько лет до



написания стихотворения «В Италии» Бродский на вопрос Со-
 ломона Волкова: «Имела ли для вас значение русская поэтиче-
 ская традиция описания Венеции — Ахматова, Пастернак?», от-
 ветил отрицательно, заметив при этом: «То есть ахматовская
 «Венеция» — совершенно замечательное стихотворение, «золо-
 тая голубятня у воды» — это очень точно в некотором роде. «Ве-
 неция» Пастернака — хуже. Ахматова поэт очень емкий, иерог-
 лифический, если угодно. Она все в одну строчку запикивает».
 (Венеция: глазами стихотворца. Диалог с Иосифом Бродским. —
 Альманах «Часть речи»). «Она все в одну строчку запикивает» —
 нефилологическое определение принципиальной разницы между
 русской классической поэтикой Ахматовой и бесконечным, яко-
 бы метафоричным бормотаньем Бродского с канцеляризмами
 вроде: «Утратив контакт с объектом...».

А главное, Ахматова никогда бы не приняла посыл всех апо-
 логетов Бродского, в том числе и Полухиной: «Я считаю, что
 Бродский действительно своего рода Пушкин XX века — на-
 столько похожи их культурные задачи». А какие же это зада-
 чи? Помню, в одной из радиопрограмм в день рождения Пушקי-
 на были приглашены какой-то молодой поэт и почетный старец
 Лихачев. На вопрос ведущей, в чем же непреходящая ценность
 Пушкина? — стихотворец начал что-то мямлить про вечный по-
 иск формы, про тематическую всеохватность, а литературовед
 был краток: «Пушкин выразил национальный идеал!». Вот она —
 главная задача поэта. Какой же идеал и какой национальности
 полнее всего выразил Бродский? Думаю, англо- и еврейско-амер-
 иканский. Ну, об этом мы еще не раз поговорим.

Бродский посвятил Ахматовой в марте 1972 года свое стихо-
 творение «Сретенье».

СРЕТЕНЬЕ

Анне Ахматовой

Когда она в церковь впервые внесла
 дитя, находились внутри из числа
 людей, находившихся там постоянно,
 Святой Симеон и пророчица Анна.



И старец воспринял младенца из рук
Марии; и три человека вокруг
младенца стояли, как зыбкая рама,
в то утро, затеряны в сумраке храма...
А было поведено старцу сему
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем Сына увидит Господня.
Свершилось. И старец промолвил: «Сегодня,
реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,
затем что глаза мои видели это
Дитя: он — твое продолженье и света
источник для идолов чтящих племен,
и слава Израиля в нем». — Симеон
умолкнул. Их всех тишина обступила.
Лишь эхо тех слов, задевая стропила,
кружилось какое-то время спустя
над их головами, слегка шелестя
под сводами храма, как некая птица,
что в силах взлететь, но не в силах спуститься...

Кончаю цитировать длинное стихотворение, потому что и так видно, сколько в нем тяжеловесных, искусственных, совершенно не ахматовских строк и оборотов речи!

С 1962 года и до конца жизни Ахматовой ее литературным секретарем был Анатолий Генрихович Найман, который родился в 1936 году в Ленинграде. Поэт, прозаик, переводчик, эссеист окончил Ленинградский Технологический институт (1959). Вместе с Бобышевым, Бродским и Рейном принадлежал к кругу опекаемых Ахматовой молодых поэтов. Автор воспоминаний: «Рассказы о Анне Ахматовой» (1989), которые в 1991 году вышли по-английски с предисловием Бродского. В Москве, где Найман живет с 1968 года, опубликованы его переводы поэзии трубадуров, старопровансальских и старофранцузских романов. В юношеских стихах Наймана слышатся голоса Блока, Пастернака и Заболоцкого, а в зрелом возрасте он следует акмеистическому



канону, пользуясь классическими размерами, ясным словарем и синтаксисом. В общем, по форме — «Анти-Бродский». Для Наймана основной единицей стихотворения является не фраза, а слово, хотя своей образностью и медитативно-элегическим тоном, окрашенным иронией, Найман близок поэтике Бродского, питающейся из того же источника. В послесловии к «Стихотворениям Анатолия Наймана» (1989), первому сборнику поэта, Бродский отмечал, что в творчестве Наймана «двух последних десятилетий нота христианского смирения звучит со все возрастающей чистотой и частотой, временами заглушая напряженный лиризм и полифонию его ранних стихотворений». Найман написал одну из первых серьезных статей о творчестве Бродского, которая появилась в качестве вступления к сборнику «Остановка в пустыне» под инициалами Н.Н. Несколько его последующих эссе, докладов и статей о Бродском отличаются точными наблюдениями, оригинальным анализом и хорошим слогом. В 1992 году в Лондоне вышла книга прозы «Статуя Командира и другие рассказы», Найман продолжает работу над прозой, он опубликовал в периодике роман «Поэзия и неправда», завершил работу над книгой рассказов «Славный конец бесславных поколений».

Найман вспоминает: «Биограф Бродского Валентина Полухина интервьюировала меня на пути из Ноттингема в Стратфорд-на-Эвоне. Дело было в автобусе, я сидел у окна, с моей стороны пекло солнце, деваться было некуда, поэтому вопрос «Когда вы поняли, что он великий поэт?» (или даже «гений»), я отнес к общему комплексу неприятностей этой поездки и огрызнулся, что и сейчас не понимаю. Охладившись, подумал, что все-таки вопрос поставлен некорректно, некорректность в слове «когда»: когда, начав с его 19, а моих 22 лет и потом годами видясь чуть не каждый день... можно вдруг сказать: «Это не он; это великий поэт Бродский?»

Считаю, что в главе об Ахматовой и Бродском уместно повторить фрагменты интервью с Анатолием Найманом, которое он дал 13 июля 1989 года в Ноттингеме. У нас с детства на слуху знаменитый город и лес под ним из романтических баллад о Робин Гуде. В этом интервью романтики — мало, но оно дает ощу-



щение поэтической атмосферы тех лет, когда в Ленинграде все дышало поэзией, а в Комарове жила и творила Анна Ахматова.

— *Расскажите о вашем первом впечатлении от встречи с Иосифом.*

Я думаю, что это было году в 58-м, наверное. Тут может быть ошибка в полгода. Если это так, то мне было 22, ему 18. И в 22 года меня, смешно сказать, уже была некоторая репутация, которая казалась мне тогда не некоторой, а весьма основательной, то есть в том кругу Ленинграда, который интересовался поэзией. А он был достаточно широк, несмотря на свою арифметическую узость. И вот приходит 18-летний юноша, мальчишка, про которого уже известно, что он громок, что он там выступал, сям выступал, оттуда его выгнали, здесь не знали, что с ним делать. Я хочу подчеркнуть, что это не надо воспринимать как что-то касающееся конкретно Бродского. Тогда он был не один такой. Это в молодом поэте есть. Говорю по собственному опыту и по тому, что наблюдал тогда и наблюдаю с тех пор всю жизнь. В поэте есть то, что люди называют настырностью. Ему во что бы то ни стало надо прочесть только что написанное стихотворение. Причем, как сказал поэт, «чем больше пьешь, тем больше хочется, а жажда все не отпускает». И только что ты прочитал, услышал отзыв, — причем, разумеется, когда тебе 18 или 20 лет, какой бы ты ни услышал отзыв, ты вынимаешь из него только ту часть, которая свидетельствует о том, что твоему слушателю стихотворение понравилось, во всяком случае, не понравилось... Так вот, едва только ты выжал одного слушателя, ты сразу же ищешь другого, как такой ненасытный паук. Таким был, естественно, в 18 лет и Бродский, но умножьте на то, что мы знаем о нем о позднейшем, то есть, что это сильный темперамент, энергия, и вот вы получите этого рыжего малого. Его все время в краску бросало. Если про него, тогдашнего, сказать, что он побледнел, это значит, что он остался просто румяным. И это не качество, а существо. И это не только мое впечатление. За это я сохранил к нему до сих пор нежность настоящую.

С первого раза, в те его 18 лет, я увидел перед собой человека, которому было невыносимо почти все то хамство, почти весь



тот ужас, почти вся та пошлость, которая и есть окружающий его мир. Более того, так же точно его мучили его собственные стихи. Он читал стихи, и почти все в них во время чтения ему не нравилось. То есть вообще стихи его были им очень любимы, это было видно, что он любит эти стихи. И вместе с тем, он почти все время себя перебивал жестами, ударами, знаменитыми своими ударами по лбу, от которых другой бы лоб давно раскололся, проборматываниями каких-то строчек, потому что они ему казались явно никуда не годными, какими-то прокрикиваниями, торопливостью какой-то в чтении других строчек. Короче говоря, он читал, реагируя непрерывно на чтение собственного стихотворения. Но стихи были слишком экспрессивны для меня тогда. В них было очень много крика и очень мало структуры. Это я говорю нынешними словами, а тогда они просто показались мне лишними в моей жизни. Мне этого было не нужно. Поэтому я запомнил только одно стихотворение, наверное, это известное стихотворение, но я больше с ним никогда не сталкивался, как и вообще со стихами того времени. Я не перечитывал Бродского, а книжку, которую он мне, кстати говоря, подарил, у меня украли. И когда мне иногда нужно обратиться к этой книжке, я только вспоминаю вора, которого я знаю. Тех стихов, короче говоря, я больше не видел. Это были стихи, в которых, я помню, были большие вагоны. И вдруг это стихотворение на фоне всего этого крика, на фоне чуждого мне поэтического хаоса, — вдруг втянуло меня в себя. Как всегда бывает, знаете, ты слушаешь ушами, головой, и вдруг клюнуло куда-то и пробило оболочку. Я сказал после этой встречи: «Да, благодарю вас. Да, спасибо». Мы тогда подчеркнуто были какими-то такими неслыханными сэрами и джентльменами, которых на свете не бывает, то есть в реальности. По-моему, он пришел ко мне от Рейна: тогда это тоже учитывалось, от кого и к кому кто пришел. Тогда очень важна была рекомендация. Если не ошибаюсь, мне позвонил Рейн и сказал: «К тебе придет вот такой малый». Он пришел и сказал: «Меня к вам Рейн послал». И я потом Рейну сказал, что ну, все, да, понятно, талант, но у меня, мол, другие заботы сейчас. Я это к тому хочу сказать, что никакой пылкой дружбы сначала не возникло. И так проходили недели.



Ну, в молодости ты особенно эгоист, это всем известно. Я хочу, чтоб это было понятно, чтоб не было такого впечатления, что вот жил в Ленинграде, было в нем звездное небо, состоящее из звездочек той или иной величины, потом вдруг вспыхнула невероятная звезда. На самом деле, я вспоминаю, таких тогдашних Бродских было человека три в Ленинграде. Одного даже звали Иосиф. Ну, фамилия там какой-нибудь Бейн. И еще кто-то такой. Тоже такие громкие, громкоголосые евреи, которые читали стихи. Их все время тоже выпихивали откуда-то. С ними была связана репутация, подрывавшая миропорядок. Так что он был не один такой тогда. Он жил в атмосфере общего неприятия, неприятия человека, от которого можно ждать неприятностей, однако сдобренной преданностью и любовью к нему нескольких людей. Например, очень преданной ему тогда была Оля Бродович и еще несколько человек. Нежность к нему и теплота возникали непроизвольно: как, например, у меня — несмотря на ту первую отчужденность.

— А как он примкнул к вашей группе?

Не то чтобы у нас было какое-нибудь специальное заседание совета, чтоб Бродский примкнул. Прошло некоторое время, и оказалось, что мы беспрерывно видимся и даже проводим массу времени вместе, знаем все друг про друга. Хотя в это время мы женились, у нас были какие-то путешествия, какие-то увлечения и т.д., но впечатление того, что мы проводим массу времени вместе, оставалось. Во-первых, скажем, возлияния, чтение стихов в каких-то небольших собраниях, может быть, даже ежевечернее в какие-то сезоны определенные, но, кроме того, еще и жажда чтения стихов друг другу. Мы жили примерно в одном районе. От Рейна до меня было ходьбы 5 минут, а до Бродского от нас было 4 или 5 остановок. И он жил как бы на середине между Бобышевым и нами. Что касается меня, то несколько раз в день он мне звонил, я ему звонил. У него была, например, такая «остроумная» шутка. Он звонил — при том, что телефоны прослушивались явно, и даже люди стояли в некоторые минуты у подъездов, особенно когда иностранцы какие-то приезжали — он звонил и говорил: «Але, это квартира Наймана? Это вам из



На аэродроме в Якутске. 1959 год.

Фото Я. Гордина



КеГеБе звонят». И чтение стихов по телефону, и чтение стихов при встрече. Я описал в книге, как он читал мне «Большую элегию Джону Донну», только что написанную, еще горячую, в железнодорожных кассах, к ужасу всех стоящих в очереди за билетами. Надо сказать, что антагонизма между группками нашими не было. Разумеется, мы уважали больше всего себя. Например, я говорил кому-то: «Если бы я хотел писать такие стихи, как ты, я писал бы такие стихи, как ты. Но я пишу такие, какие пишу я, потому что мне их хочется писать». Скажем, была группа: Еремин, Уфлянд, Кулле, Виноградов и Лосев (Леша Лифшиц). И мы к ним относились, как к друзьям. Мы отдавали должное тому, что они пишут. Из Москвы приезжали... Долгое время в моем сознании, и не только в моем, безусловным поэтическим лидером времени, бесспорным, был Стась Красовицкий, москвич. Их было три очень талантливых поэта — Красовицкий, Хромов и Чертков. Я ни с кем совершенно не собираюсь вступать в полемику. Я просто действительно их считаю замечательными русскими поэтами. Другое дело, что Красовицкий в начале 60-х годов отказался от поэзии. Хромов продолжал писать. С Чертковым свои случились всякие злоключения. Не говоря уже о том, что он попал в лагерь, потом уехал за границу и т.д. Мы смотрели друг на друга с некоторым высокомерием, но все понимали, что высокомерие — это просто тот костюм, который надо на себя надевать. А на самом деле мы относились друг к другу с искренней доброжелательностью. Честно говоря, с некоторым недоверием смотрели на так называемую группу «горняков». У них был курс на публикацию. И они все очень быстро стали публиковаться.

— Кто входил в эту группу?

Британишский, Кушнер, Агеев, Кумпан, Битов, Королева, Горбовский. Они были безусловно одаренные люди. Горбовского мы очень любили. Вообще, талант — вещь очень редкая, как мы знаем. И в таланте есть обаяние. Если человек не совсем уж сбрендил на себе и не все время думает о том, как ему сохранить скорлупу, в которую он себя запер, то талант его очень легко пленяет. А Горбовский был и, я думаю, есть, никуда это не ушло, необыкновенно



талантлив. Тут не надо было задумываться, за что любить его стихи. Мы их любили так же, как его поведение. (Так же и Голявкина любили: это талантливый прозаик, совершенно недооцененный. Он несколько замечательных книг издал. Тут тоже была пленительность таланта.) Что касается остальных «горняков», или членов литературного объединения Горного института, то их держали немного взаперти, как в таком хорошем колледже, знаете, чтобы они не путались с уличными, хотя они из себя изображали как раз уличных. Но они могли заразиться от нас наплевательским отношением ко всему, что могло быть названо сколько-нибудь официальным. А тогда, да и до последнего времени, нельзя было ничего напечатать без хотя бы тонкого яда официальности.

На особом несколько положении стоит Кушнер, потому что ему удалось застолбить свое место в первых вышедших книгах, то есть с самого начала он получил право на свой голос, на свой тембр голоса, на индивидуальную, ненавязчивую интонацию. Что касается остальных, то давность бьет содержание. Когда я кого-то из них встречаю, я знаю, вот более или менее «свой» человек. Очень многое можно сказать полусловами. Но то, что они писали, мне никогда в рот не лезло. Честно говоря, это было еще и скучно очень...

На чем мы остановились?.. В те годы, когда тебе 23-4-5-7, фокусировка подворачивается довольно быстро. Итак, какая-то в нас четверых появилась сплоченность. Мы понимали... мы могли сказать о стихах друг друга в каком-то мычании или в точной фразе, неожиданно прозвучавшей, мы сказали уже что-то такое, что потом требовались какие-то жесты или какие-то «бу-бу» или «му-му» для того, чтобы была понятна твоя оценка того, что твой товарищ написал. Так продолжалось до 64 года, когда начались некоторые личные события в нашей жизни. И тогда прошла трещина в личных отношениях. То, что нас сплотило несколько лет тому назад, отменить уже было нельзя, да и не нужно было отменять. Но прошла личная трещина, и постепенно судьбы разошлись, и не потому что это вот наши конкретные судьбы, а потому что совершенно естественно, когда собираются четыре индивидуальности, то они расходятся. И можно только удивляться тому, что они так близко сходятся.



— Именно потому, что никому из вас не надо было заниматься ни ума, ни таланта, как началось и заметно ли было выделение Иосифа среди вас, и чем? Или тогда, до 64 года, до возвращения из ссылки, он как поэт среди вас не выделялся? Когда вы начали сознавать то, что мы сейчас зовем Бродский?

— Давайте я буду только за себя отвечать. Тут мы переходим, собственно, к самому существу этого интервью. Сначала я отвечу на ваш конкретный вопрос. Он очень быстро рос, что называется. Я употребляю слово «рос» в метафизическом смысле. Эти четыре года разницы сохранялись. И вместе с тем через 3—4 года мы были ровня во всех смыслах. Мы не ощущали его более молодым ни в каком смысле. А дальше я буду отвечать только за себя. Дальше началось то, что называется известностью. Сперва знаменитый судебный процесс. Он стал фигурой под прожекторами. Он вел себя на процессе безукоризненно. Он показал то, что было для меня, знаете, щемящим. Была в его поведении такая привлекательность, от которой даже щемило сердце. Он все время был беззащитным человеком, при этом в той степени высоты человеческой, что можно было, посмотрев на его поведение во время процесса и во все это время, вдруг вспомнить, что человеки, они вот такие могут быть, а не только совершать непорядочные, неблагородные или обыкновенные поступки, не только жить обыкновенной жизнью. Вдруг увидели, что вот это вот незащищенное, в каждую секунду готовое к гибели существо держится с таким достоинством. Этому стало сопутствовать радио. Знаете, тогда Би-би-си или «Голос Америки» были как голоса из заоблачных высей. И вот «Голос» говорит: «Бродский... Бродский... Иосиф Бродский». То есть начинается вот эта сторона славы. Подавляющее большинство людей тогда начали восклицать: «Она пришла! Она пришла сама!». Это были люди, которые начали говорить: «А вы знаете, какие он стихи замечательные пишет!» Он не стал писать стихи более замечательные, чем он писал до того, как «Голос Америки» и Би-би-си начали повторять его имя. Не то чтобы что-то качественное изменилось в нем, но после условного «Голоса Америки» вдруг эти стихи оказались замечательными. Это имеет, как сейчас говорят, обратную связь. Это подействовало и на самого Бродского. Ну, я



знаю этот механизм на себе: ты как-то должен себя вести соответствующим образом.

Я могу утверждать, что Иосиф не был высокого мнения о людях, которые его окружали. Он этого не скрывал и как-то даже давал понять людям, что он о них невысокого мнения. И вот изумление мое: людям было приятно, что он показывает, что он о них невысокого мнения. Им ведь нужен товарищ Сталин в самых разных областях. Я этого всего совершенно не принимал. Больше того, когда видишь, что все заодно, то начинаешь этому все больше и больше сопротивляться. Я, естественно, очень сознательно к этому относился и отделял вот эту пену от того, какие стихи он пишет. Но я помню момент, когда первое стихотворение огорчило меня и сразу было мною не принято. Это стихотворение «Остановка в пустыне». В этом стихотворении была какая-то поучительность, которая шла рядом с поэзией, а поэзия ничего не терпит рядом с собой. И, естественно, она ее разрушала. Кроме того, там появилось «мы»: «И от чего мы больше далеки: / от православья или эллинизма?». Что это такое «мы»? Кто эти «мы»? Я понимаю, когда Ахматова пишет «мы» — это Мандельштам, Гумилев, Нарбут и Зенкевич. А когда «мы» — это «давайте, ребята! Мы — единомышленники», тут, во-первых, появляется недолжная спекулятивность на этом «мы»: с одной стороны, ты вербуешь людей, так сказать, их обнимая за плечи, и говоришь: «мы заодно», а с другой стороны, они с радостью пристраиваются. И получается: «мы» — это народ такой, поэзии противопоказанный. Все-таки это не эпическая вещь, а лирика. В этих стихах какая-то была советскость, неизбежная такая советскость, от которой не надо отказываться, но которую надо замечать в себе. (Я сейчас занимаюсь не похвалами, а тем, что считаю существенным отметить).

Дальше прошло еще несколько лет спаянности и начавшегося расхождения, одновременно действующих, как мне кажется сейчас. Вслед за ними еще личные события, и я уехал из Ленинграда в Москву. Наши расхождения мы даже оформили в слова, хотя это вовсе не означало, что мы стали не любить друг друга. Какие-то были разовые разговоры, какие-то поздравления друг



друга. Перед отъездом он приехал проститься, хотя мы несколько лет до этого почти не виделись.

Теперь вы, кажется, спросили, когда мы начали осознавать, кто такой Бродский. Мы — это, повторяю, я. И опять-таки — «осознавать». Ведь я могу не понимать содержания, которое вы вкладываете в слова «осознали, кто такой Бродский». «Кто такой Бродский» у меня, наверное, не то, что «кто такой Бродский» у вас. Я могу вам сказать, пронзительность его стихов сказала уже в 1962 году. Если я не ошибаюсь, это стихотворение примерно 62-го года, там есть строчки:

Да не будет дано
умереть мне вдали от тебя,
в голубиных горах,
кривоногому мальчику вторя...

«Стансы городу» называется. Да. Вот эта строчка «кривоногому мальчику вторя». (Которую я запомнил по-своему, кстати сказать.) Потом, конечно, вот этот гул, ухваченный в «Большой элегии Джону Донну», когда он действительно определился как Бродский. Это стихотворение, которое можно взять и сказать: «Вот Бродский и сейчас, по прошествии 27 лет». Потом совершенно уникальный по тому времени «Исаак и Авраам». Потом это было им разработано, и разработки, как всегда, уменьшают величину сделанного. Не увеличивают, а уменьшают. «Исаак и Авраам» — это разгон языка на тысячу строк, на пять-восемь тысяч слов, и тоже на такой высокой ноте. Ну, и потом ничего лучшего, чем «Кенигсберг» («Einem Alten Architekten in Rom»), ничего лучшего я у Бродского не знаю: «Чик, чик-чирик, чик-чик — посмотришь вверх». Эта музыка во мне с его голоса всю жизнь живет. И я думаю, будет жить до конца моих дней. Когда я говорю, что я ничего лучшего у Бродского не знаю, это не значит, что я не знаю равного этому. Скажем, «Осенний крик ястреба» совершенно замечательные стихи...

— Известно, что Анна Андреевна всех вас призывала к краткости и якобы Иосифу удалось ее переубедить. Действи-



тельно ли это так? Как она принимала его большие вещи? Это сказал Бобышев в статье «Ахматовские сироты».

Мне кажется, это позднейшая интерполяция, как сейчас говорят. Ни к чему она нас не призывала. Другое дело, что и не призывая — то есть словами, — она нас к этому призывала своей манерой. Может быть, так стоило бы сказать. Она принимала нас такими, какие мы есть, потому мы и могли ее так бесприемно любить: она нам ничего совершенно не навязывала. И кто хотел писать длинно, кто хотел писать криво и кто хотел писать плохо, она разрешала все. Я понимаю, что имеет в виду Бобышев, но такого сказать я не могу. Я могу сказать вот какую вещь насчет Анны Андреевны, насчет длиннот и всего такого. Она высоко оценила поэму «Исаак и Авраам», хотя, как вы понимаете, эти стихи были в манере совсем ей чуждой. Но не ее, правда, было учить, что такое поэтический талант, она это слышала за версту. А вот когда, не помню уж, из деревни, а может быть, не из деревни, я привез ей какие-то его стихи на библейский сюжет, она сказала раздраженно: «Эту тему нельзя эксплуатировать. На библейский сюжет стихи можно писать один раз». Я думаю, это довольно существенное замечание, но скорее характеризующее Ахматову, а не Бродского.

А вообще Ахматова, я говорил об этом в докладе, учила нас не поэзии, не поэтическому ремеслу, — ему тоже, но походя, и кому было нужно, тот учился. Это был факультатив. Бродский, безусловно, прошел школу Ахматовой, но только в том виде, в каком я о ней говорил. Она не давала нам уроков. Она просто создавала атмосферу определенного состава воздуха. Так я отвечаю на ваш вопрос.

Вы, конечно, знакомы с его пьесой «Мрамор», которая является, в сущности, двойным анахронизмом: в ней речь идет не только об Империи до христианства, но и об Империи постхристианства, где культура разрешена, но духовно выхолощена. Прокомментируйте.

Я очень не люблю пьесу «Мрамор». Это очень противная вещь сама по себе. Собственно говоря, это строительство какого-то огромного здания, в то время как можно было всего



один кирпич положить на это место и дальше, по моим понятиям, пройти мимо. Она не без остроумия написана. Ее интрига заключается в том, что человек культурой пробивает себе выход на свободу. Швыряя в мусоропровод культуру, он выходит на свободу. В этом есть некоторое остроумие. По существу же, я с этим абсолютно не согласен. Чтобы не говорить громких слов... никто христианство не отменял. И если христианство перестает играть ту общественную роль, которую оно играло в течение двух тысячелетий, то оно не прекращается, а возвращается к какому-то своему уже пройденным периодам, но на новом этапе. Так вот, если мы в самом деле знаем, что Христос — это Сын Божий, если мы со всей, на которую способны, ответственностью производим слова «я верую в это», то смешно сказать «верую Josephu Brodskomu, который считает, что христианство кончится»...

Видите ли, был такой эпизод, когда меня очень хотели поспорить с Бродским именно на том основании, что я якобы сказал, что он безбожник. Я этого, разумеется, не говорил и не думал. И по этому поводу у нас было даже письменное объяснение. — *Насколько универсален Бродский?*

Вообще говоря, это вопрос вопросов. Я сам об этом думаю и не могу на ответе каком-то остановиться. И это, может быть, самое существенное из того, что я говорю. Если нам нужны стихи «мандельштама», мы идем к Мандельштаму (я говорю условно «мандельштама» с маленькой буквы — мы идем к Мандельштаму с большой буквы) и получаем его стихи. Если нам нужны стихи «ахматовой», мы идем к Ахматовой, «Цветаевой» — к Цветаевой, «пастернака» — к Пастернаку. Сейчас положение такое. Если нам нужны стихи, я не знаю, «тра-та-тама», мы идем к Бродскому, у него есть эти стихи. Нам нужны стихи «бал-ба-лама», мы идем к Бродскому, у него есть и эти стихи. Короче говоря, я не разделяю тех упреков, которые делаются Бродскому по поводу «поэтической индустрии» — помните, мы вместе с вами смотрели статью, которая называлась «Индустрия магии». Я ее не прочитал как следует, но вот это слово «индустрия» — обидное слово. Когда меня спрашивали в интервью «Голосу Америки» в связи с Бродским, какое отличие нынешнего времени от того в поэзии,

Запад-7. Типовая ф. № 208
Утверждена ЦСУ СССР 12.XI.1963 г. № 10-15

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА № _____

I. Общие сведения

1. Фамилия Бродский № диплома _____ № документа _____
Имя Иосиф отчество Иосифович политическое наименование и дата окончания учеб. завсеса _____

2. Год рождения 1940 месяц VII число 31 9. Знание иностранных языков _____

3. Место рождения: республика, край область Ленинград район Свердловский 10. Основная профессия и специальность Кей

4. Национальность _____ 11. Стаж работы по данной специальности _____

5. Партийность _____ год вступления в КПСС _____ 12. Место последней работы и занимаемая должность Учитель 1940

6. Состоит ли членом ВЛКСМ Кей указать с какого года _____ 13. Общий стаж работы по найму Кей

7. Член профсоюза Кей № билета Кей стаж с _____ года _____ 14. Семейное положение Холост

8. Образование Высш. средн. школа, средн. начальн. (ск. классов) кем выдан _____ на срок по _____ дата выдачи _____ 15. Паспорт: серия Мейр Кей № _____

общее наименование и дата окончания учебного заведения _____ 16. Домашний адрес Кв. 66 _____ телефон № _____

специальное наименование и дата окончания учебного заведения _____

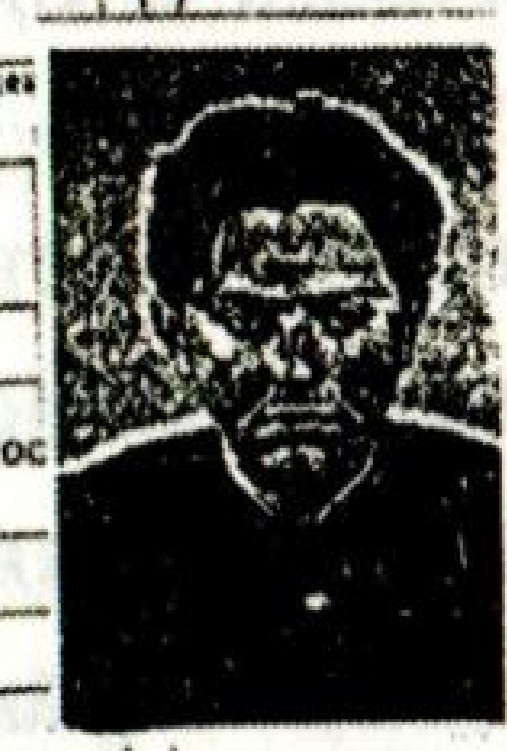
II. Сведения о воинском учете

7. Группа учета _____ 21. Военно-учетная специальность № _____

8. Категория учета _____ 22. Годность к военной службе _____ строевой, инструкторской

9. Состав _____ 23. Наименование районного комитета по месту жительства _____

0. Воинское звание _____ 24. Состоит ли на специальном учете — № _____



III. Назначения и перемещения						IV. Поощрения и награждения		
Дата	Цех, отдел, участок	Должность, профессия	Ранг	Оклад	Приказ №	Дата	Характер поощрения или награждения и за что	Основание
11/10/56	54	уч. фрезеров						
18/11/56	54	фрезеровщик	3					

V. Отпуска						VI. Производственное обучение (до поступления на предприятие и на данном предприятии)		
Вид отпуска	Основание	Дата		Вид отпуска	Основание	Дата начала отпуска	Дата окончания обучения	Полученная квалификация
		начала отпуска	возвращения					

Дата заполнения _____ 1956 г. 46 Подпись заявителя _____
Дата и место приема увольнения _____ Подпись _____
Документы при увольнении получены _____
Типография им. Володарского. Зак. № 4227. Тир. 10 000

Личная карточка И. А. Бродского в отделе кадров «Арсенала». В поисках самого себя Бродский испробует 13 разных профессий (фрезеровщик, техник-геофизик, санитар, кочегар, фотограф, работник морга и т.п.)



я сказал, что тогда, правомерно или неправоммерно, но мы могли через запятую написать: Ахматова, Пастернак, Цветаева, Маяковский и т.д., а сейчас с Бродским через запятую написать никого нельзя. С одной стороны, это свидетельствует о ранге, а с другой стороны — это неблагоприятное положение, потому что поэт не может быть синтетичен. Наоборот, он тем более поэт, чем более он узок. За одним исключением, если он по-пушкински универсален. Ну, я оставляю этот вопрос открытым...».

В Центральном Госархиве хранится фотография, на которой сняты Ахматова и юный поэт на скамейке перед ее домом — Будкой, как она говорила. И подпись: «Ахматова и Бродский в Комарове». А на самом деле это Ахматова и Найман. Подпись к ней — типичная оговорка по Фрейду: кто же из молодых поэтов может быть рядом с Ахматовой, если не Бродский, которому она, как принято считать, чуть ли не лиру передала! Но не слишком ли тяжела для него классическая лира?

Еще — из воспоминаний Наймана о том времени:

* * *

Когда в Ленинграде вышел фельетон «Окололитературный трутень» с клеветой на Бродского, они оба были в Москве. Найману привезли газету назавтра, и они встретились в кафе. «Настроение было серьезное, но не подавленное».

В Москве же, где жил тогда Найман, когда ждали, что Бродского вот-вот отпустят, произошло и еще одно эпохальное событие. В тот день Найману позвонил Василий Аксенов и пригласил на нигде еще не идущий американский фильм «В джазе только девушки» (настоящее название «Некоторые любят это погорячее»). В главной роли — Мерилин Монро! Просмотр — в клубе на Лубянке (это Дом культуры КГБ! — А.Б.). Найман немедленно согласился. А минут через десять звонок был не менее ошеломителен: звонил Бродский, который только что приехал в Москву прямо со станции Коноша Архангельской области, где позавчера получил документ о досрочной окончании пятилетней ссылки. «Здрасьте, АГ, что сегодня делаете?» А АГ сегодня идет



в клуб КГБ любоваться Мерилин Монро в фильме «Some like it hot». «Значит, так живете? А меня возьмете?» Так Бродский сразу после ссылки приятно провел время в клубе КГБ.

* * *

Комарово. Бродский копает под Будкой бомбоубежище для Ахматовой. Придя из леса, Найман застаёт его уже по плечи в яме. «Он говорит, что на случай атомной бомбардировки», — объяснила Ахматова. Она улыбалась, но в ее словах слышался вопрос. «У него диплом спеца по противоатомной защите», — ответил Найман. На семинар по противоатомной защите Бродского командировали однажды, когда он отбывал ссылку, а Найман как раз в это время приехал к нему в Норинскую. «Он вернулся с удостоверением и с фантастическими представлениями о протонах и нейтронах, равно как и об атомной и водородной бомбах. Я объяснил предмет на школьном уровне, и мы легли спать, но он несколько раз будил меня и спрашивал: «А-Гэ, а скольквалентен жидкий кислород?» Или: «Так это точно, что эйч-бомб — он называл водородную бомбу на английский манер — не замораживает? Ни при каких условиях?»».

* * *

Однажды Бродский стал с жаром доказывать что у Блока есть книжки, в которых все стихи плохие. «Это неправда, — спокойно возразила Ахматова. — У Блока, как у всякого поэта, есть стихи плохие, средние и хорошие». А после его ухода сказала, что «в его стихах тоже есть песня», — о Блоке это было сказано прежде, — «может быть, потому он так на него и бросается». (Эта похвала была в ее устах исключительной редкостью). Про своего кота Глюка, который был небывалого роста, Ахматова говорила: «полтора кота». И про Бродского она вдруг сказала: «типичные полтора кота». Имея в виду не физические данные, конечно.

Лев Лосев — автор книги о Бродском в серии ЖЗЛ написал статью «О любви Ахматовой к «народу»...», почему-то заковычив и название стихотворения Бродского, и само понятие — народ.



Марина Цветаева в свое время создала цикл стихотворений, посвященных Анне Ахматовой. Первое стихотворение от 19 июня 1916 года начиналось так:

О Муза плача, прекраснейшая из муз!
 О ты, шальное исчадие ночи белой!
 Ты черную насылаешь метель на Русь,
 И вопли твои вонзаются в нас, как стрелы.
 И мы шарахаемся и глухое: ох! —
 Стотысячное — тебе присягает: Анна
 Ахматова! Это имя — огромный вздох,
 И в глубь он падает, которая безымянна.

Так вот, в посвященном Ахматовой очерке «Муза плача» Бродский цитирует популярный афоризм Бюффона: «Стиль — это человек». Невооруженным глазом, как говорится, видно, что как человек и как стилист сам он соприроден не Ахматовой, а — из русских поэтов ее поколения — полярно на нее непохожим Маяковскому, Цветаевой, пожалуй, что и Пастернаку. Все это вполне сознавал сам Бродский и объяснял: «Мы не за похвалой к ней шли, не за литературным признанием или там за одобрением наших опусов. <...> Мы шли к ней, потому что она наши души приводила в движение, потому что в ее присутствии ты как бы отказывался от себя, от того душевного, духовного — да не знаю уж, как это там называется — уровня, на котором находился, — от «языка», которым ты говорил с действительностью, в пользу «языка», которым пользовалась она. Конечно же, мы толковали о литературе, конечно же, мы сплетничали, конечно же, мы бежали за водкой, слушали Моцарта и смеялись над правительством. Но, оглядываясь назад, я слышу и вижу не это; в моем сознании всплывает одна строчка из того самого «Шиповника»: «Ты не знаешь, что тебе простили...» Она, эта строчка, не столько вырывается из, сколько отрывается от контекста, потому что это сказано именно голосом души — ибо прощающий всегда больше самой обиды и того, кто обиду причиняет. Ибо строка эта, адресованная человеку, на самом деле адресована всему миру, она —



ответ души на существование. Примерно этому — а не навыкам стихосложения — мы у нее и учились».

« Это проникновенное и темпераментное высказывание, — пишет Лосев, — кажется, исчерпывает тему «Ахматова — Бродский». Кажется также, что литературоведу здесь делать нечего. Литературоведение, по крайней мере то, в канонах которого мы воспитывались, познает литературные связи именно через анализ стихосложения. Оно не знает понятий «душа», «душевное», «духовное». Вопросы этики во взаимоотношениях между двумя поэтами литературоведа интересуют лишь постольку, поскольку они находят отражение в тематике стихов — разного рода откликах, полемических выпадах, прямых или скрытых цитатах, «интертекстах». Последние несколько лет я занимался составлением довольно подробного комментария к стихотворениям Бродского, и у меня сложилось убеждение, что переключки с Ахматовой у Бродского не так уж часты — помимо группы ранних и двух стихотворений зрелого периода («Сретенье» и «На столетие Анны Ахматовой»), посвященных Ахматовой, полускрытые цитаты и намеки на ахматовские тексты можно отметить еще всего в двенадцати стихотворениях, в некоторых из них не без сомнения.

Характерно, что большинство этих переключек были бессознательны. Отвечая на вопрос читательницы о стихах, в которых «присутствует» Ахматова, Бродский писал: «Стихи, в которых «присутствует» А.А.А., следующие: «Сретение» и «В Италии». Наверное, есть еще, но в данную минуту в голову ничего не приходит (что, естественно, ничего не значит). Из перечисленных Вами «Anno Domini» с А.А.А. не связано, да и «Флоренция», впрочем, тоже. Есть целый ряд стихов, непосредственно ей посвященных, среди ранних, написанных на ее дни рождения, но я не могу вспомнить первых строк сию секунду».

Бродский познакомился с Анной Ахматовой 7 августа 1961 года. Бродскому был двадцать один год, Евгению Рейну, который привез младшего товарища в ахматовскую Будку в Комарове, двадцать пять. Паломничество молодых поэтов к корифеям Серебряного века было делом обычным. Пятью годами раньше ваш покорный слуга стучался в дверь Пастернака в Переделкине. В шестьдесят первом году из великих русских поэтов в жи-



вых оставалась одна Ахматова, так что ритуал причащения к великой поэзии только и можно было совершить в форме знакомства с нею. Ахматовой такие посещения были привычны. Даже в те годы, когда она существовала в лимбе сталинского ада, ее разыскивали бесстрашные почитатели, а в хрущевские времена неожиданное появление у ее дверей молодого мужчины или женщины с букетом цветов и тетрадкой стихов стало делом довольно обычным. (После смерти Ахматовой в 1966 году эта традиция естественным образом прекратилась, хотя стремление протянуть руку над разделяющей поколения пропастью, успеть прикоснуться к живому гению, видимо, будет оставаться всегда. Только вот гениев на все эпохи не хватает. Поэт следующего за Бродским поколения, Юрий Кублановский, рассказывал мне, как он, пятнадцатилетний, приехал из провинции в Москву, чтобы повидать... Андрея Вознесенского, позднее ему снилось, что он знакомится с Ахматовой.) Необычным в визите двух молодых людей 7 августа 1961 года было то, что один из них, Иосиф, совершенно не ощущал себя паломником к святилищу пророчицы, слабо представлял себе, кто такая эта литературная старушка, к которой они едут, и вообще поехал за компанию, прокатиться за город. Разумеется, он знал в общих чертах ее историю и кое-что из стихов, принесших ей раннюю славу, но, как вспоминал он позднее: «...все эти дела не представлялись мне такими уж большими поэтическими достижениями». И филологического интереса к ее воспоминаниям у него не было: «...меня — как человека недостаточно образованного и недостаточно воспитанного — все это не очень-то интересовало, все эти авторы и обстоятельства».

Дальнейшая история отношений Бродского и Ахматовой хорошо известна, «...В один прекрасный день, возвращаясь от Ахматовой в набитой битком электричке, я вдруг понял — знаете, вдруг как бы спадает завеса — с кем или, вернее, с чем я имею дело». Бродский стал постоянным посетителем, его стихи производили глубокое впечатление на Ахматову, но и в личном плане между ними установилась та особая атмосфера доверительности, которая в редких случаях бывает между кровными родственниками, через поколение. Я стараюсь избежать милого русского слова «бабушка», поскольку это очень домашнее слово



никак не пристает к пожизненно бездомной, жившей как бы не в четырех стенах, а на четырех ветрах Ахматовой. По «внутренней форме слова» больше подходило бы европейское *grandemere*, *Grossmutter*, *grandmother* — «Великая Мать». Ахматова тепло относилась к окружившей ее компании поэтической молодежи, среди которой были Наталья Горбаневская, Дмитрий Бобышев, Михаил Мейлах и ее секретарь, Анатолий Найман, но к Иосифу Бродскому ее отношение было совершенно особенным — и как к человеку, и как к поэту. Годы близости с Ахматовой были периодом самых трудных испытаний в жизни Бродского, определивших всю его дальнейшую жизнь, — и любовная драма, и попытка самоубийства, и сумасшедший дом, и тюрьма, и кошмарный суд, и ссылка — и похоже, что все происходившее с ним трогало Ахматову самым интимным образом. Тому много свидетельств, приведу два — одно скорее забавного характера, другое, как мне кажется, трогательное.

В мемуарах Наймана читаем: «...когда его любовный роман <...> переместился почти целиком из поэзии в быт, <Ахматова> сказала: «В конце концов поэту хорошо бы разбираться, где муза и где блядь». (Прозвучало оглушительно, вроде «пли!» и одновременного выстрела; это слово она произнесла еще однажды, но в цитате, а вообще никогда ни прежде, ни после таких слов не употребляла. Прибавлю, что к реальной даме это отношения не имело, сказано было абсолютно несправедливо, исключительно из сочувствия и злости, в том же духе, что под горячую руку о бедной Наталье Николаевне, — но отсчет велся от поэта, к нему и выставлялись неснижаемые требования)» (Найман). Если верить мемуаристу, мы имеем здесь свидетельство исключительного отношения Ахматовой к юному Бродскому. Всегда контролирующая любую ситуацию Ахматова только дважды на его памяти выходила из себя настолько, чтобы выразиться абсолютно ей не свойственным непечатным образом.

Другое, столь же невольное свидетельство состоит из двух частей. Во втором томе «Записок об Анне Ахматовой», где много страниц посвящено вызволению Бродского из ссылки, 22 апреля 1964 года Чуковская записывает слова Ахматовой: «...наш герой ведет себя не совсем хорошо. Даже совсем не... Вообра-



зите, Иосиф говорит: «Никто для меня пальцем о палец не хочет ударить. Если б они хотели, они освободили бы меня в два дня». <...> У него типичный лагерный психоз — это мне знакомо — Лева мне говорил, что я не хочу его возвращения и нарочно держу его в лагере...». В сентябре 1965 года Ахматова записывает в своем дневнике: «Освобожден Иосиф по решению Верховного Суда. Это большая и светлая радость. Я видела его за несколько часов до этой вести. Он был страшен — казался на краю самоубийства. Его (по-моему) спас Адмони, встретив его в электричке, когда этот безумец возвращался от меня. Мне он прочел «Гимн Народу». Или я ничего не понимаю, или это гениально как стихи, а в смысле пути нравственного это то, о чем говорит Достоевский в «Мертвом доме»: ни тени озлобления или высокомерия, бояться которых велит Ф<едор> М<ихайлович>. На этом погиб мой сын. Он стал презирать и ненавидеть людей и сам перестал быть человеком. Да просветит его Господь! Бедный мой Левушка».

Эмоционально эти эпизоды противоположны — в первом случае Ахматова негодует, во втором восхищается и умиляется Бродским. Общий знаменатель здесь — немедленная мысль о родном сыне, улучшенным вариантом которого становится Бродский. (оставим этот «улучшенный вариант» родного сына на совести Лосева. — А.Б.). Именно материнским («велико»-материнским) отношением к Иосифу объясняет и Чуковская вспышку ахматовского гнева: «...пусть думает и говорит обо мне и о нас Иосиф все, что хочет, а ей какво: Бродский ведь ее открытие, ее гордость». Это избирательное сродство было обоюдным. Бродский нежно любил свою родную мать, М. М. Вольперт-Бродскую, но во всех сборниках помещал рядом со стихотворением «Памяти отца: Австралия» не стихотворение памяти матери («Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга...»), а стихотворение «На столетие Ахматовой». Надо отметить, что Бродский внимательно относился к композиции своих стихотворных сборников, стихи в них размещал по каким-то, иногда лишь ему самому ясным, тематическим и стилистическим признакам, то и дело нарушая хронологический порядок.



В геологической экспедиции. Якутия, 1959 г.
Из архива Я. А. Гордина



Здесь следует сказать, что речь идет о взаимопонимаемом избирательном сродстве исключительно духовного порядка, никак не отразившемся на характере бытовых отношений.

Никакой особой интимности между Ахматовой и Бродским не было. Самое смешное, что мне приходилось читать в этой связи, это комментарий одного западного критика к строкам из стихотворения Бродского «Пятая годовщина»: «Я вырос в тех краях, я говорил «закурим» / их лучшему певцу...». Комментатор писал: «Лучший певец» — А.А. Ахматова (1889—1966)». Конечно, до уровня фамильярности — «Давай, закурим...» — их отношения никак не могли прийти (сам Бродский пояснил, что имел в виду Евгения Рейна). В «Диалогах» Волкова в одном месте записано: «...после того, как дала мне прочесть свои записки о Модильяни, спросила: «Иосиф, что ты по этому поводу думаешь?». Это явно или оговорка Бродского, или ошибка Волкова при расшифровке записи (кстати сказать, в первом, нью-йоркском, издании «Диалогов» было «что вы ... думаете»).

То, что я сказал выше о материнском-сыновнем характере отношений между Ахматовой и Бродским, следует понимать как исключительное ощущение особой связи, но вовсе не как обычные отношения старшего и младшего. Причем нарушителем обычных правил здесь оказывается Ахматова. Бродский, как многие из нас помнят, в юные годы не отличался почтительностью к старшим, спорил с известными писателями и академиками, не выбирая выражений, иногда с неспровоцированной агрессивностью, но по отношению к Ахматовой он всегда вел себя так, как ожидается от младшего по отношению к старшему. А вот Ахматова обращалась к нему как к равному: «мы с вами» («Иосиф, мы с вами знаем все рифмы русского языка...»). Ей самой ее отношения с Иосифом напоминают отношения с ближайшим другом среди сверстников-поэтов, Мандельштамом. Более того, при чтении ее записных книжек создается странное впечатление, что в чем-то семидесятипятилетняя Ахматова считала двадцатипятилетнего Бродского мудрее себя. Она неоднократно возвращается к мысли Бродского о том, что главное в поэзии — это величие замысла. «И снова всплыли спасительные слова: «Главное — это величие замысла»; «Постоянно думаю <о величии замысла> о нашей последней



встрече и благодарю Вас»; «И в силе остаются Ваши прошлогодние слова: «Главное — это величие замысла»....

Повторю, Ахматова записывает в дневник после встречи с Бродским 11 сентября 1965 года: «Мне он прочел «Гимн Народу». Или я ничего не понимаю, или это гениально как стихи, а в смысле пути нравственного это то, о чем говорит Достоевский в «Мертвом доме»: ни тени озлобления или высокомерия, бояться которых велит Ф<едор> М<ихайлович>». Понимает Ахматова в стихах или «ничего не понимает», проверить сегодня могут только те, кто имеет доступ к самиздатскому («марамзинскому») собранию сочинений Бродского 1972—1974 гг. Стихотворение это (правильное название — «Народ») никогда не печаталось. По жанру — это ода, 36 строк разноstopного (в основном, четырехstopного) анапеста с парной мужской рифмой:

Мой народ, не склонивший своей головы,
мой народ, сохранивший повадку травы:
в смертный час зажимающий зерна в горсти,
сохранивший способность на северном камне расти... —

это начало, а заканчивается стихотворение так:

...Припадаю к народу, припадаю к великой реке.
Пью великую речь, растворяюсь в ее языке.
Припадаю к реке, бесконечно текущей вдоль глаз
сквозь века, прямо в нас, мимо нас, дальше нас.

Позднее Бродский забраковал это стихотворение, скорее всего, по причинам эстетическим, как и многие другие слишком риторические стихи раннего периода. Однако в кругу его тогдашних читателей об этом стихотворении сложилось мнение, что оно было написано как «паровозик» — так на жаргоне литераторов советского периода назывались политически правильные стихи, написанные специально, чтобы протащить в печать другие, политически не столь правильные, но действительно дорогие автору. В. Р. Марамзин еще в 1974 году высказывал сомнения по этому поводу: ведь «Народ» был написан в



ссылке в декабре 1964 года, задолго до того, как у Бродского могла появиться надежда на какую-либо публикацию в Советском Союзе. Однако представление о «Народе» как «паровозике» укрепилось среди друзей и знакомых Бродского. Именно в этом духе «Народ» упоминается в мемуарах А.Я. Сергеева: «В Ленинграде образуется какой-то альманах, то ли день поэзии, то ли еще что-то. Иосифа приглашают, только, конечно, надо бросить кость. В ссылке Иосиф написал послушное стихотворение «Народ», которое, кажется, было напечатано в местной многотиражке <стихотворение не печаталось. — Л. Л.>. В стихотворении не было ничего неприличного, но сказать, что это — стихотворение Иосифа, что оно выражает его существенные мысли и чувства — нет, это стихи на случай. И вот Иосиф, поддавшись, выбирает стихи нейтральные — хотя эстетически нейтральных стихов по отношению к ... — у него не было. Вот он берет какие-то стихи, более или менее проходимые, и предваряет их стихотворением «Народ». Как мы видим, исключением из тогдашнего круга читателей была Ахматова, именно в этих стихах усмотревшая гениальность Бродского. Ее мнение до сих пор продолжает озадачивать иных. Через пять дней после первой записи о «Народе», 16 сентября, в дурной день после сердечного приступа, она пишет в дневнике: «Хоть бы Брод<ский> приехал и опять прочел мне «Гимн народу». Странное желание — в качестве моральной поддержки услышать ремесленные стихи «на заказ». Да и сравнение со святая святых этики Достоевского — «Смирись, гордый человек!» — в контексте интерпретации Наймана выглядит уж очень мелко: получается — смирись перед начальством. Повторяю, Найман не один так думал. Как явствует из комментария Марамзина и воспоминаний Сергеева, то же думали многие, разве что не так злобно.

Я полагаю, что здесь мы натываемся на черту, отделяющую моральный и эстетический уровень Ахматовой и Бродского от уровня среднеинтеллигентской советской морали, уровня тех, о ком Пастернак писал: «...они не знали, что бедствие среднего вкуса хуже бедствия безвкусицы»....».

С этим выводом Лосева, пожалуй, можно согласиться.



Завершить главу необходимо, наверное, невнятным стихотворением Бродского «На столетие Анны Ахматовой».

Страницу и огонь, зерно и жернова,
секиры острое и усеченный волос —
Бог сохраняет все; особенно — слова
прощенья и любви, как собственный свой голос.
В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст,
и заступ в них стучит; ровны и глуховаты,
затем что жизнь — одна, они из смертных уст
звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.

Великая душа, поклон через моря
за то, что их нашла, — тебе и части тленной,
что спит в родной земле, тебе благодаря
обретшей речи дар в глухонемой вселенной.

Ничего не понятно, особенно, в последней строфе (кто дар речи обрел — тленная часть?), но — холодно-торжественно... Без той любви и восторженности, которыми дышит стихотворение Марины Цветаевой, откуда и позаимствовал Бродский название для своего эссе «Муза плача».

В певучем граде моем купола горят,
И Спаса светлого славит слепец бродячий...
И я дарю тебе свой колокольный град,
— Ахматова! — и сердце свое в придачу.

Для контраста цитирую, для полной общей ясности и для профессора Полухиной, в частности — в чем разница между простыми гениальными стихами и бесцветной заумью Бродского. Хорошо, что еще не пишут работ: «Влияние Бродского на позднюю Ахматову».

Лосев
Бродский



профессионал, но даже мне ясно, что на русской классике кто-то не очень умный (или, напротив, очень расчетливый) намерен ставить жирный крест. И не в том даже дело, что сокращаются часы, в результате чего «до полной ликвидации нашего предмета как обязательного осталось два шага, а то и шажочка». Дело в том, что, насколько я понимаю, предполагается выхолостить само понятие «классика»», — отмечает эксперт.

Да, похоже, решили уничтожить лучшее, что создано на ниве духовности нашими писателями-патриотами. Как утверждал не включенный в список Михаил Пришвин: «В моей борьбе вынесла меня народность моя, язык мой материнский, чувство родины... Ничего с этим не сделаешь, и меня уничтожат только, если русский народ кончится, но он не кончается, а может быть, только что начинается». Видя все то, что творится на ниве культуры и образования, кажется, что русский народ — кончается. Этот же вывод приходит в голову, когда слышишь по газпромовскому радио или читаешь в правительственной газете, что Бродский — это Пушкин XX века. Надо этому бреду, этой духовной отраве по мере сил противостоять.

За сим и прощаюсь с читателем.

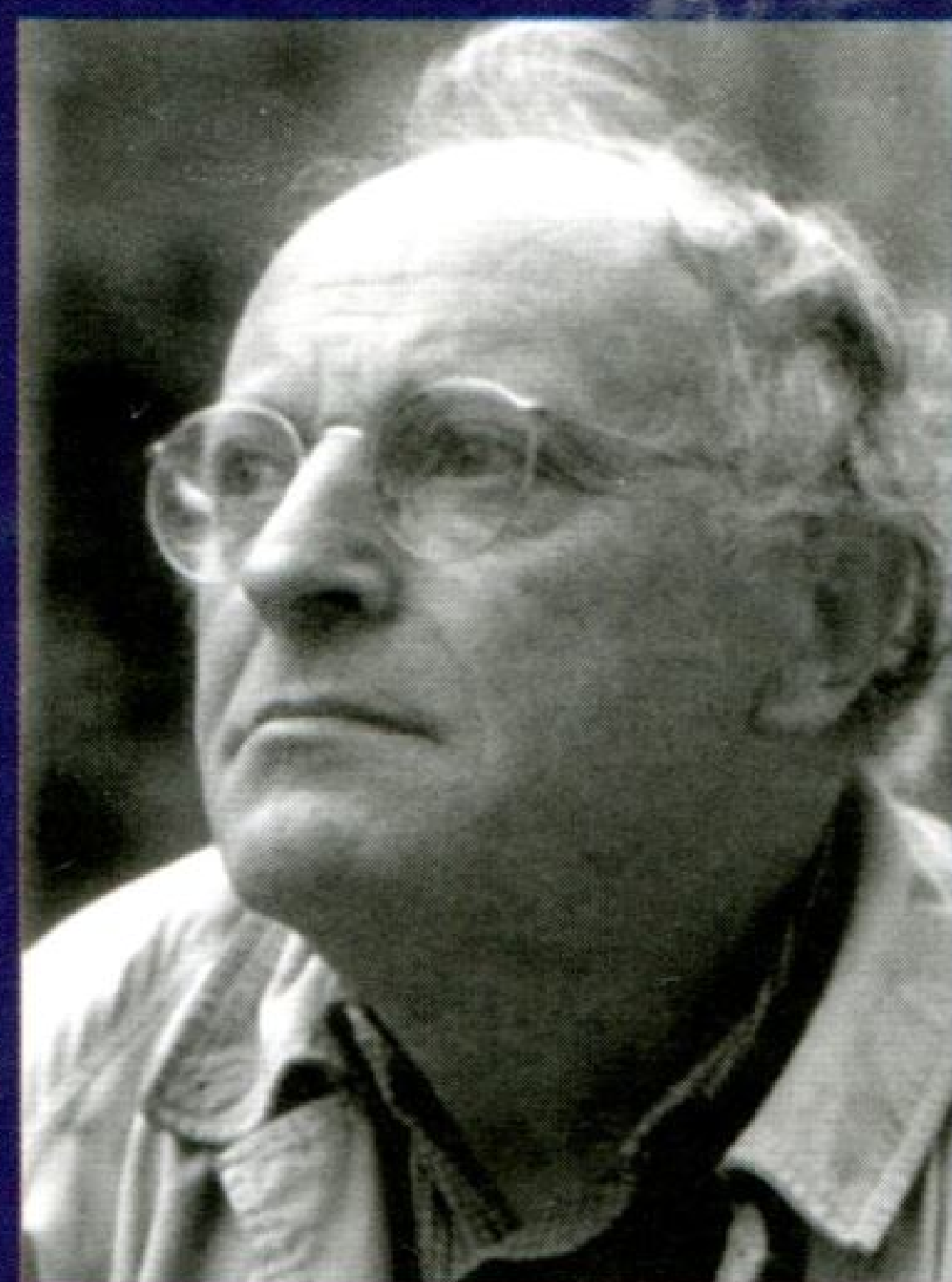
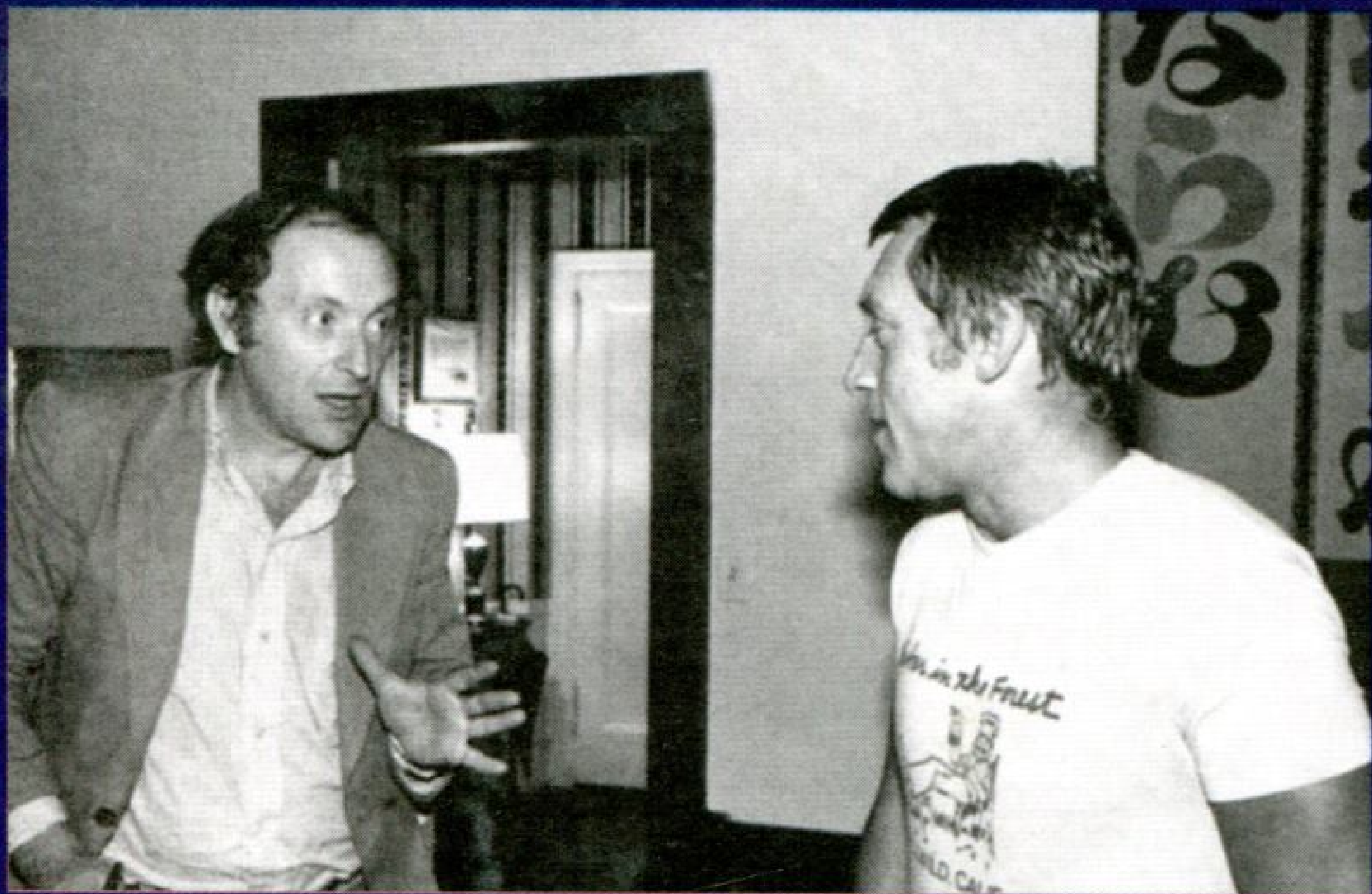
Иосиф Бродский



СОДЕРЖАНИЕ

Вздохи поэзии	5
Великая мать Ахматова и сокращенный христианин	53
Горох во все стороны от Полухиной	84
Гений Малевич, лауреат Бродский и профессор Ганнушкин	100
Бродский: протестант или вечный жид?	128
От Норинской до Праги: «русскость» Бродского	171
Владимир Бондаренко: русский менталитет Бродского	186
О поэте, «харкающем в суп»	213
Пародийное предприятие Бродского — Сергей Довлатов	233
Любовь к Венеции и к парадоксам	272
Заемная кровь: Кушнер и другие	291
Змеиный кончик члена, или Самозапретная книга	305
Рубцова и сегодня душат Бродским	326

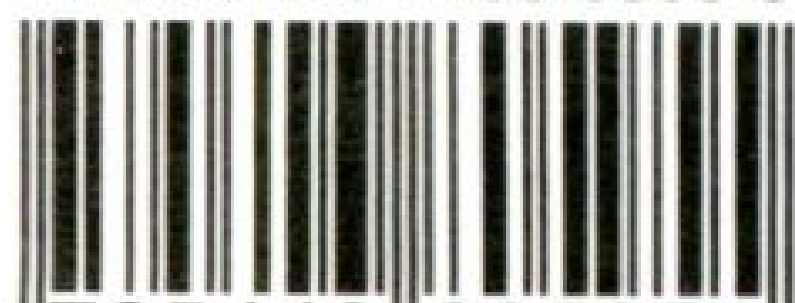




Спросите любого даже в наше не столь располагающее к литературе время: кто такой Иосиф Бродский? Большинство ответят, что он из диссидентов, Нобелевский лауреат – великий российский поэт. По словам другого поэта, поэт в России больше чем поэт. Он – властитель дум миллионов. И Бродский таким был, по крайней мере, в среде единомышленников. Ведь недаром на Западе у русскоязычных граждан давно считается, что Бродскому надо либо подчиниться и подражать, либо отринуть его, либо впитать в себя и избавиться от него с благодарностью. Последнее могут единицы. Чаще можно встретить первых или вторых.

Так кто же он, Иосиф Бродский, подобно Вечному жиду, скитавшийся по миру: гениальный поэт или раздутый до непомерных размеров ангажированный литератор? В своей книге публицист и поэт Александр Бобров дает ответ на этот вопрос.

ISBN 978-5-4438-0595-5



9 785443 805955 >